АТЕНЕЙ

ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВРЕМЕННИК

Труды Пушкинского Дома
Академии Наук СССР.

ПАМЯТИ ДЕКАБРИСТОВ

ЛЕНИНГРАД
1926

1825—1925

ПАМЯТИ

ДЕКАБРИСТОВ

АТЕНЕЙ

ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВРЕМЕННИК

ПОД РЕДАКЦИЕЙ

Б. Л. МОДЗАЛЕВСКОГО и Ю. Г. ОКСМАНА

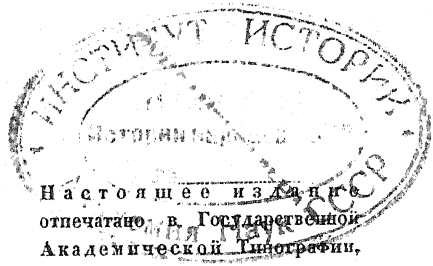
КНИГА ТРЕТЬЯ

Труды Пушкинского Дома Академии Наук СССР.

ЛЕНИНГРАД
1926

1к
2 экз.

Сдано 1931 г.



Настоящее издание
отпечатано в Государственной
Академической Типографии,
в количестве одной тысячи
двухсот экземпляров

964
51
РУ
II
Ате

Библиотека
академика
В. М. Пиотровского

ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ
БИБЛИОТЕКА
Общественных Наук
Академии Наук СССР
081
61

Ленинградский Гублит № 6366/11.

НЯ

ДЕКАБРИСТЫ.

НОВЫЕ ТЕКСТЫ.

1.

В. Ф. Раевский.

ПОСЛАНИЕ Г. С. БАТЕНЬКОВУ.

(1815).

Когда над родиной моей
Из тучи молния сверкала,
Когда Москва в цепях страдала
Среди убийства и огней,
Когда губительной рукою
Война носила смерть и страх
И разливала кровь рекою
На милых отческих полях, —
Тогда в душе моей свободной
Я узы в первый раз узнал
И, видя скорби глас народный,
От соучастья трепетал...
Как быстро гибнет блеск зарницы,
Так из разрушенной столицы
Тиран стремительной стопой
Вспять хлынул с хищною ордой!
И вслед ему бог бранный мщенья,
Во мзду насильств и преступленья,
Перуны грозные бросал
И путь гробами застилал...

Орудие сей грозной мести,
Я взор печальный отвратил
От поприща кровавой чести
И острый меч в ножны вложил...
Но ты, мой друг! при шуме славы, —
Среди триумфов и побед,
Среди громов борьбы кровавой
Стремясь за разрушеньем вслед,
Свидетель россов смелых силы,
Смиренья их и правоты, —
Поведай мне, что мыслил ты,
Зря цепь изрытую могилы?
Скажи, ужель увеселял
Тебя трофей, в крови омытый,
Ужель венок, корыстью свитый,
Рассудка силу заглушал?..
[И мрачная завеса пала!
Атропа гибельным резцом
Едва нить жизни не прервала
Твою под роковым мечем].
Простясь с неласковой судьбою,
С печальным опытом, с мечтою,
[Ты удалился] на покой
Туда, где Лена, Обь волной
В гранитные брега плескают
И по седым во мгле лесам
К Гиперборейским берегам,
Во льдах волнуясь, протекают, —
Где все в немых пустынях спит,
Где чуть приметен блеск природы,
Но где живут сыны свободы,
Где луч учения горит!..
Твои там отческие лары,
Там мир и радости с тобой,
Туда кровавою рукой
Войну, убийства и пожары
Не понесет никто с собой!..
В беседе там красноречивой

С тобой великий Архимед,
Декарт и Кант трудолюбивой
И Гершель с циркулом планет!
И все в гармонии с душою
И чужд клевет и злобы слух...
Почто жь зовешь меня, мой друг,
Делить все радости с тобою!
Могу ль покоем обладать?
Пловец над пропастью бездонной
В отчизне милой, но безродной,
Не ведая куда пристать,
Я в море суеты блуждаю,
Стремлюсь вперед, ищу пути
В надежде пристань обрести
И — снова в море уплываю.

2.

А. И. Одоевский.

[НЕИЗДАННОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ].

Что мы, о боже? — Въ домъ небесный,
Гдѣ сынъ твой ждетъ земныхъ гостей,
Ты насъ ведешь дорогой тесной,
Путемъ томительныхъ скорбей,
Сквозь огнь несбыточныхъ желаній!
Мы всѣ пріемлемъ часъ страданій,
Какъ испытаніе твое;
Но для чего, о Безконечной!
Вложилъ ты мысль разлуки вѣчной
Въ одноночное бытіе? —

3.

К. Ф. Рылеев.

[ПРИПИСЫВАЕМОЕ ЕМУ ПОСЛАНИЕ К А. А. БЕСТУЖЕВУ].

По чувствамъ братья мы съ тобой,
Мы въ искупленье вѣримъ оба,
И будемъ мы питать до гроба
Вражду къ бичамъ страны родной.
Когда жъ ударитъ грозный часъ
И встанутъ спящіе народы, —
Святое воинство свободы
Въ своихъ рядахъ увидитъ насъ.
Любовью къ истинѣ святой
Въ тебѣ, я знаю, сердце бьется,
И вѣрно отзывъ въ немъ найдется
На неподкупный голосъ мой.

4.

А. П. Барятинский.

A MADAME
LA P-SSE T...KOY NÉE C-SSE W....N.
(IMPROMPTU).

Qu'écrirai-je sur cette page?
Je connais vos vertus, j'ignore vos défauts.
Je ne vanterai pas le brillant avantage
D'être fille d'un héros.
Ses exploits, dès long-tems ont grossi notre histoire;
Vous lui devez le jour et nous tous notre gloire;
Mais pour louer vos vertus, vos attraits,
Pourquoi rappeler ses hauts faits?
Bien que ni remparts, ni murailles
N'arrêtassent ses pas vainqueurs;
Il a moins gagné de batailles,
Que vous n'avez gagné de coeurs.

[Перевод].

КНЯГИНЕ Т...КОЙ, РОЖД. ГРАФИНЕ В....Н.
(ЭКСПРОМПТ).

Что написать мне в ваш альбом?
О ваших добродетелях не буду
Я говорить: они известны всюду,
А недостатков нет у вас; притом
Вы дочь героя, чьим деяньям
История дивится и весь свет;
И вы ему своим существованьем
Обязаны; но блеск его побед
Бледнее ваших: стены укреплений
Он рушил, — грозный он герой-боец, —
И все же меньше выиграл сражений,
Чем покорили вы сердец.

5.

Н. М. Языков.

[СТИХОТВОРЕНИЕ ПАМЯТИ К. Ф. РЫЛЕЕВА].

Не вы-ль убранство нашихъ дней,
Свободы искры огневыя —
Рылѣевъ умеръ какъ злодѣй! —
О вспомяни о немъ, Россія,
Когда возстанешь отъ цѣпей
И силы двинешь громовыя
На самовластіе царей!

7 Августа 1826 г.

6.

А. И. Полежаев.

[НЕИЗДАННОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ].

Ай, ахти! охъ, ура,
П[равославный] нашъ Ц[арь],
Н[иколай] Г[осударь],
Въ тебѣ мало добра!..
Обманулъ, погубилъ
Ты милльоны головъ,—
Не сдержалъ, не свершилъ
И[мператорскихъ] словъ!..
Ты припомни, что мы,
Не жалѣя себя,
Охранили тебя
Отъ большой кутерьмы, —
Охранили, спасли
И по братнимъ т[ѣламъ]
Со грѣхомъ пополамъ
На П[рестолъ] возвели!
Много, много сулилъ
Ты с[олдатамъ] тогда;
Миновала бѣда, —
И ты всё позабылъ! —
Помыкаешь ты насъ
По горамъ по доламъ,
Не позволишь ты намъ
Отдохнуть ни на часъ!
Отъ ста[льныхъ?] те[саковъ?]
У насъ сп[ины] трещатъ,

Отъ уч[ебныхъ] ша[говъ]
У насъ но[ги] болятъ!
День и ночь наподрядъ,
Какъ воловъ наповалъ
Бьютъ и мучатъ с[олдатъ]
О[фицеръ] и Ка[пралъ].
Что же, бѣ[лый] От[ецъ],
Своихъ черныхъ Ов[ецъ]
Ты стираешь съ земли?
Иль мы кромѣ побой
Ничего предъ тобой
Заслужить не могли?
Или думаешь ты
Нами вѣчно играть
И что — .. .... мать
Лучше доброй молвы?
Такъ у..... [?]
П[равославный] нашъ [Царь],
Н[иколай] Г[осударь],
Ты бо[лванъ] нашихъ р[укъ]:
Мы склѣили тебя
И на тысячу штукъ
Разобьемъ, разлюбя! —

7.

Письма М. С. Лунина из Акатуя.

М. С. Лунин — княгине М. Н. Волконской.

1842. 30 Janvier. [Akatouï].

Ma chère Soeur de l'exil! J'ai reçu vos deux lettres à la fois. J'ai été d'autant plus sensible à cette preuve de votre amitié, que je vous accusais d'oubli et surtout de ce que vous n'avez pas écrit à ma Charissima, qui de son côté se plaignait de votre silence. Adressez lui encor une ou deux lettres, à tout hasard, pour la rassurer sur mon sort. Un mot de votre part fera plus d'effet, que si moi-même je pouvais écrire, car les femmes se comprennent mieux et le don de consoler leur appartient. Le soin, que vous prenez de mon pauvre Warka, de mes effets et de mon ménage, prouve une sincère et active amitié. Je vous en suis bien reconnaissant. Je vous remercie également pour le gilet-chaud, dont j'avais grand besoin, ainsi que pour les médecines dont je n'ai pas besoin, car ma santé de fer résiste à toutes les épreuves. Si vous pouvez m'envoyer des livres: je vous serai obligé. Ce que vous dites au sujet de l'helleniste n'est pas un obstacle. Où trouver des hommes parfaits? D'ailleurs la plupart des hommes parfaits sont des ignorants ou des imbécilles. Faites toujours venir le docteur allemand. Il donnera sa leçon en votre présence et le reste du temps il n'a qu'à faire ce qu'il veut. En attendant il faudrait à mon avis commencer par les leçons de latin. Si vous et votre mari approuvez mon idée, adressez vous de ma part à Nikita et dites lui, que je lui demande, comme une preuve de son amitié, de se charger des leçons de latin. Je suis sûr, qu'il ne me refusera pas une prière adressée du fond du cachot.

Les lettres des enfants m'ont fait grand plaisir. Je me suis transporté en idée au milieu de votre paisible cercle, où les mêmes romances retentissent toujours avec un nouveau charme et les mêmes choses se redisent avec un nouvel interêt.

Mes amitiés à Messieurs Poggio et à tous ceux des nôtres, qui demandront de mes nouvelles. J'ai trouvé ici le brave Wissotsky, qui me témoigne une amitié et un dévouement exemplaire. C'est lui, qui a soin de mon ménage. Il ne tient aucun compte des dangers aux quels il s'expose pour m'être utile. C'est à lui, que je suis redevable de la faculté de vous écrire. Il m'a procuré les élément nécessaires. Ses compartiotes en général me témoignent le même zèle. Jamais je n'aurais soupçonné autant de vetrus au fond de la S. P.

J'aurais encor mille et mille choses à vous dire, mais le temps manque. On me presse de finir à cause d'une nouvelle sentinelle, qui n'est pas sûre.

Adieu, ma bonne soeur de l'exil, que Dieu et ses bons Anges vous protègent. ainsi que votre famille. Votre tout dévoué

Michel.

My dear Master Michael! I thank you for your good letter, and am very happy to see, that you have made some progress in the English language. Go on in the same way, do not loose your time and you will soon become a clever fellow, and I will love you a good deal more for it. I kiss your little Sister's hand, and am for ever your good friend Michael.

La plume est si mauvaise, que je doute qu'il ne pourra même déchifrer.

Mon cher Сергѣй Григорьичь! L'architecte du château d'Akatouï a surement hérité de l'imagination du Dante. Mes cachots précédents étaient des boudoirs en comparaison de celui que j'occupe. On me garde à vue. Des sentinelles à la porte, aux fenêtres, partout. J'ai pour compagnons de ma captivité une 50-ne de meurtriers, d'assassins, de chefs de brigands et de faux-monnayeurs. Du reste nous nous convenons parfaitement. Ces braves gens m'ont pris en affection. Je suis le dépositaire de leurs petits tresors, acquis Dieu sais comment, et le confident de leurs petits secrets, qui appartiennent décidément à la littérature galvanique. — Il parait qu'on me juge, à mon insu, dans quelque coin de l'Empire. Je reçois de temps à autre un cahier d'interrogations, auxquelles je réponds toujours négativement. — Le scélérat a bavardé. Si vous en avez l'occasion dites lui que je suis mécontent de lui. En même temps envoyez lui les 25 Roubles ci-joint de votre part: car il doit être sans le sol. — Tout ce que j'ai lu dans votre lettre

m'a fait grand plaisir. Je m'attendais à ces nouvelles preuves de notre ancienne amitié et je pense qu'il e t inutile de vous dire combien j'y suis sensible. Ayez bien soin de mon pauvre Warka, ne lui donnez que du pain et surtout rien de chaud. Si je ne suis pas pendu ou fusillé, tachez de me l'envoyer avec quelque occasion sure. Présentez je vous prie mes respects à Марья Казимировна et à Алексѣй Петровичь. Je suis très reconnaissant pour leur amical souvenir. Mille choses aimables à Artamon, ainsi qu'à ceux qui m'ont reconduit et que j'ai trouvé au bivouak sur la grande route. Adieu, cher ami, je vous embrasse en idée et suis pour la vie votre affectionné

Michel.

На оборотѣ: Madame Madame la Princesse Wolkonska.

Перевод.

1842, 30 Января. [Акатуй].

Дорогая сестра по изгнанию! Оба ваши письма я получил сразу. Я тем более был растроган этим доказательством вашей дружбы, что обвинял вас в забывчивости и, особенно, в том, что вы не написали моей Дражайшей [1], которая и с своей стороны жаловалась на ваше молчание. Направьте к ней еще одно-другое письмо, на всякий случай, чтобы успокоить ее на мой счет. Одно слово от вас произведет больше действия, чем если бы я сам мог писать ей, так как женщины лучше понимают друг друга и дар утешать принадлежит им. Забота, которую вы берете на себя о моем Варке [2], о вещах моих и домашней моей обстановке, доказывают искреннюю и деятельную дружбу. Я вам за нее весьма признателен. Равным образом благодарю вас за теплый жилет, в котором я очень нуждался, а также и за лекарства, в которых я не имею нужды, так как мое железное здоровье противостоит всем испытаниям. Если вы можете прислать мне книг, я буду вам обязан. То, что вы говорите об учителе греческого языка [3], не может служить препятствием. Где все-таки найти людей совершенных? К тому же большинство людей совершенных — невежды или глупцы. Выпишите доктора-немца: он будет давать урок в вашем присутствии, — остальное же время будет делать, что́ хочет. В ожидании же этого следовало бы, по моему мнению, начать с уроков латинского языка. Если вы и ваш муж одобряете мою мысль, обратитесь от моего имени к Никите [4] и скажите ему, что я прошу его, в доказательство его дружбы ко мне, взять на себя урок латинского. Уверен, что он не откажет мне в просьбе, обращенной из глубины темницы.

Письма детей доставили мне большое удовольствие. Я мысленно перенесся в ваш мирный круг, в котором те же романсы раздаются с новою прелестью и те же вещи говорятся с новым интересом.

Передайте мои дружеские чувства господам Поджио и всем тем из наших, которые спросят о мне. Я нашел здесь славного Высоцкого [5], который выказы-

1) Сестре, Е. С. Уваровой.

2) Собака Лунина, оставленная у Волконских при переводе Лунина в Акатуй.

3) Для Миши Волконского, который учился греческому по настоянию Лунина.

4) Никите Михайловичу Муравьеву, декабристу, вскоре умершему.

5) Один из участников Польского восстания 1831 года, находившийся в ссылке в Акатуе. О нем см. в книге С. Я. Штрайха о Лунине, стр. 53.

вает мне дружбу и примерную преданность. Это он заботится о моем домашнем житье-бытье. Он нисколько не считается с теми опасностями, которым подвергает себя тем, что старается быть мне полезным, и ему я обязан возможностью писать вам: это он раздобыл мне необходимые для того элементы. Его соотечественники в общем проявляют ко мне то же усердие. Никогда бы я не подозревал столько добродетелей в недрах С. П. [1]).

У меня нашлось бы еще тысяча и тысяча вещей сказать вам, но на это нет времени. Меня торопят кончать — из-за нового часового, на которого нельзя положиться. Прощайте, дорогая сестра по изгнанию, пусть бог и его добрые ангелы охранят вас и ваше семейство. Вам совершенно преданный

Михаил.

Приписка к Мише Волконскому. Дорогой мой Миша! Благодарю тебя за доброе твое письмо; счастлив видеть, что ты сделал некоторые успехи в английском языке. Иди и впредь по этому пути, не теряй своего времени, — и ты скоро сделаешься искусным сотоварищем и я полюблю тебя еще больше, чем прежде. Целую руку твоей сестренки [2]) и остаюсь навсегда твой добрый друг Михаил.

Перо так скверно, что я сомневаюсь разберет ли он меня.

Приписка к С. Г. Волконскому. Дорогой мой Сергей Григорьич! Архитектор Акатуйского замка, без сомнения, унаследовал воображение Данта. Мои предыдущие тюрьмы были будуарами по сравнению с тем казематом, который я занимаю. Меня стерегут, не спуская с меня глаз. Часовые у дверей, у окон,—везде. Моими сотоварищами по заточению — полсотня душегубов, убийц, разбойничьих атаманов и фальшивомонетчиков. Однако, мы великолепно сошлись. Эти добрые люди полюбили меня. Я являюсь хранителем их маленьких сокровищ, приобретенных бог знает как, и поверенным их маленьких тайн, которые принадлежат, конечно, к литературе, имеющей отношение к гальванизму [3]).

Кажется меня, без моего ведома, судят в каком-то уголке империи. Я получаю, время от времени, тетрадь с вопросами, на которые я отвечаю всегда отрицательно. *Злодей* [4]) проболтался. Если представится случай, скажите ему, что я им недоволен. В то-же время пошлите ему прилагаемые 25 рублей — от вашего имени, — ибо он должен быть без копейки. Все, что прочел я в вашем письме, доставило мне большое удовольствие. Я надеялся на эти новые доказательства нашей старинной дружбы и полагаю, что бесполезно говорить вам, как я этим растроган Позаботьтесь хорошенько о моем бедном Варке, не давайте ему ничего, кроме хлеба и, в особенности, ничего горячего. Если я не буду повешен или расстрелян, попытайтесь прислать его ко мне с какою нибудь верною оказиею. Передайте, пожалуйста, мое почтение Марье Казимировне и Алексею Петровичу [5]). Я очень признателен за их дружеское воспоминание. Передайте тысячу любезностей Артамону [6]), равно как и тем, которые провожали меня и которых я нашел на привале на большой дороге. Прощайте, дорогой друг, обнимаю вас мысленно и остаюсь на всю жизнь ваш преданный

Михаил.

На обороте: Госпоже княгине Волконской.

---

1) Святой Польши?

2) Нелли Волконской.

3) Имеется в виду, вероятно, гальванический стул, на котором в Америке казнили уголовных преступников.

4) Не знаем, кого так называет здесь Лунин.

5) Юшневским.

6) Муравьеву.

М. С. Лунин — С. Г. Волконскому.

[Ноябрь — декабрь 1843 г. Акатуй].

Mon cher Ami! Votre lettre du 5 Novembre 1843 m'apprend des choses tristes aux quelles il faut se résigner, puisqu'il ne dépend pas de nous de les changer. Elles changeront d'elles mêmes par la suite, car il n'y a rien de stable et de permanent dans ce monde, dont la figure passe. De mon côté je n'ai que de bonnes nouvelles à vous donner. Ma santé se soutient à ravir, malgré les rigueurs de la détention et les privations de toute espéce. Mes etudes progressent dans la solitude et le silence du cachot. Durant les deux dernières années, je me suis principalement appliqué au grec, à l'aide des livres, que ma Soeur m'a envoyé, comme par inspiration, de Berlin. Mes études ont eu pour objet les doctrines religieuses d'Homère. L'on est surpris en parcourant le monde traditionnel, qu'il dévoile, d'y trouver à chaque pas l'autel au Dieu inconnu. Les fictions et les fables dont le poête entoure les verités de la Révelation primordiale, n'en offusquent pas l'éclat et ne sont à leur tour que l'abus de quelque vérité.

Cette partie n'a été qu'effleuré par les nombreux comentateurs d'Homère et elle échappe à l'analyse dans toutes les traductions. J'ai recueilli un nombre considérable de matériaux à cet égard. Mais malheur à moi, si mon griffonage Grec tombe entre les mains des Autorités. Elles seraient capables de me brûler vif, comme un nécromeucier Чернокнижникъ.

Vous vous plaignez de ma Soeur, et elle se plaint de vous. Il est assez étrange, que vos lettres réciproques s'égarent. Une lettre de vous, avec un mot indirect sur mon compte lui ferait un grand plaisir. Cette pauvre femme est comme une poule, qui a couvé des canards. L'un donne dans le militaire, l'autre dans la science. Elle ne sait plus après le quel courir, ni où donner de la tête.

L'image de la S-te Vierge n'arrive pas. Je l'attends avec une vive impatience. Adressez vous aux autorités d'Irkoutsk, pour m'envoyer le reste de mes livres. Elles ont reçu des ordres à cet égard. Les fraix de transport seront prélevés, d'après votre demande, sur les sommes à moi, déposées au Zawod de Nerchinsk.

Le soin, que vous prenez de Wassilitch et de sa famille, prouve à la fois Votre excellent coeur et votre constante amitié pour moi. Qui

voudrait se charger d'une pareille corvée? Ne pouvant rien faire pour ces pauvres gens du fond du cachot, je remets leur sort entre vos mains. Achevez une bonne oeuvre, que vous avez commencé et continué avec tant de succès. Ne pourrait-on pas leur créer une occupation ou leur trouver une place, dont le produit suffirait à leur entretien? Si la maison n'est pas confisquée, vous pouvez la vendre pour en employer le prix à leur établissement. Concertez-vous à ce sujet avec ma Soeur, qui s'empressera, j'en suis sur, de réaliser vos idées, malgré l'état critique de ses finances. Warka m'est devenu encor plus cher depuis qu'il est estropié. Je donnerais la moitié de ce que je possède pour revoir ce compagnon inséparable de mes courses aventureuses dans les forêts Sibériennes. Ayez soin de bien nourrir le pauvre invalide. Que sont devenus les autres chiens: Morga, Formosa, Audax, les deux Dianes, Togratch et Placsa? Tachez de racheter ma noble arme. Ma soeur vous remboursera. On ignore ici le prix de cette arme, qui a été payée 3 mille francs à Paris.

Adieu, mon cher et respectable ami. Saluez de ma part tous ceux qui se rappelent de moi et croyez à la sincère amitié de votre dévoué et reconnaissant

Michel.

На обороте: Сергѣю Григорьевичу Волконскому.

Перевод.

Мой дорогой друг! Письмо ваше от 5 Ноября 1843 г. сообщает мне о печальных вещах, которым следует покориться, так как не от нас зависит изменить их. Они изменятся сами впоследствии, так как нет ничего устойчивого и постоянного в этом мире, форма которого проходит. С своей стороны я могу дать вам лишь добрые известия. Здоровье мое держится великолепно, несмотря на суровость заточения и всевозможные лишения. Мои занятия преуспевают в уединении и тишине тюрьмы. В течение двух последних лет я прилежу главным образом к греческому языку, при помощи книг, которые сестра моя прислала мне, как бы по внушению, из Берлина [1]). Занятия мои имеют предметом религиозные верования у Гомера. Удивляешься, обозревая мир преданий, им раскрываемый, когда находишь на каждом шагу алтарь в честь неведомого бога. Вымыслы и мифы, которыми поэт окружает истины первоначального Откровения, не затемняют его блеска и, в свою очередь, суть только заблуждение некоторой истины. Эта сторона была лишь слегка затронута многочисленными комментаторами Гомера и во всех переводах ускользает от разбора. Я собрал значительное количество материалов по этому поводу. Но горе мне, если моя греческая мазня попадет в руки властей. Они будут способны сжечь меня живым, как колдуна, Чернокнижника.

Вы жалуетесь на мою сестру, а она жалуется на вас. Довольно странно, что ваши взаимные письма пропадают. Письмо от вас с одним косвенным намеком на мой счет доставило бы ей большое удовольствие. Эта бедная женщина похожа

1) См. в цитированной книге С. Я. Штрайха, стр. 112—113.

на курицу, выскедвшую утят. Один вдается в военщину, а другой — в науку. Она не знает, ни за кем ей бежать, ни на что решиться [1]).

Образ пресвятой девы не дошел еще. Ожидаю его с живым нетерпением. Обратитесь к Иркутским властям, чтобы выслать мне остальные мои книги. Они получили приказание по этому поводу. Расходы по пересылке будут оплачены вперед, по вашему требованию, из моих денег, находящихся в Нерчинском заводе.

Заботы, которые вы оказываете Васильичу и его семье, показывают одновременно и ваше превосходное сердце, и вашу постоянную ко мне дружбу. Кому была бы охота брать на себя подобную тяготу? Не имея возможности ничего сделать для этих бедных людей из глубины моей темницы, я вручаю вам их судьбу. Доверните доброе дело, начатое вами и продолжаемое с таким успехом. Нельзя-ли было бы придумать им какое-нибудь занятие или найти им место, дохода с которого хватало бы на их содержание? Если дом не конфискован, вы можете продать его, чтобы вырученную за него цену употребить на их содержание. Столкуйтесь по этому вопросу с моей сестрой, которая не замедлит, я в том уверен, осуществить ваши мысли, несмотря на критическое состояние своих финансов. Варка сделался мне еще дороже с тех пор, что он стал калекой. Я отдал бы половину того, чем владею, чтобы вновь увидеть этого неразлучного товарища моих исполненных приключений походов в Сибирских лесах. Позаботьтесь хорошенько кормить бедного инвалида. Что сталось с другими собаками: Маргой, Формозой, Аудаксом, двумя Дианами, Тограчом и Илаксой? Постарайтесь выкупить мое благородное оружие. Моя сестра возместит ваши расходы. Здесь не знают цены этому оружию, за которое было заплочено в Париже 3 тысячи франков. Прощайте, мой дорогой и почтенный друг. Приветствуйте от меня всех тех, которые меня помнят и верьте искренней дружбе вашего преданного и признательного Михаила.

На обороте: Сергею Григорьевичу Волконскому.

1) Имеются в виду сыновья Е. С. Уваровой, рожд. Луниной, Александр и Сергей, из которых один увлекался, между прочим, арабским языком. Их обоих, равно как и их мать, предполагал вывести Лев Толстой в своем романе «Декабристы»: см. книжку «Л. Н. Толстой. Декабристы. Неизданные отрывки романа». Вступительная статья М. Цявловского, изд. «Огонек», М. 1925.

8.

Н. А. Бестужев.

ДНЕВНИК ПУТЕШЕСТВИЯ НАШЕГО ИЗ ЧИТЫ[1]). 1830.

Чита. Мы разделены были на две партии; первая должна была идти под начальством плац-майора, а вторая под личным надзором самого коменданта[2]). Все мы разделились *по юртам*, т. е. по пяткам, число людей, могущее вместиться в юрте; я был в пятке с братом, Торсоном, Розеном и Громницким[3]). На каждых двух человек назначалась подвода для поклажи скарбу под предлогом *хворым*, а т. н. разрешили иметь свои повозки. — Мы просились во вторую партию.

Августа 7. Поутру в ненастную погоду выступила первая партия. — Все остальные наши товарищи из прочих 2-х казематов были переведены к нам, в большой каземат.

9-го. Поутру в 9-м часу выступили и мы. Взвод солдат впереди и сзади, по бокам цепь солдат и конных казаков окружали нас. Народ толпился у ворот каземата. — Все плакали, прощаясь с нами и наделяли желаниями на дорогу[4]). — Я решился

1) Разрядкой отмечаем те места, которые являются буквальным воспроизведением записи Штейнгеля (см. послесловие).

2) У Штейнгеля записано так: «По предварительному распоряжению мы расписаны были на две партии, из коих первая должна идти под начальством плац-майора, а вторая с самим комендантом».

Комендант — Станислав Осипович Лепарский; плац-майор, племянник его — Осип Адамович Лепарский.

3) Брат — Михаил Александрович Бестужев, автор известных Воспоминаний; остальные — Константин Петрович Торсон, б. моряк, — ближайший друг Бестужевых, вместе с ними впоследствии живший на поселении в Селенгинске. Андрей Евгеньевич Розен, автор «Записок». Он был хозяином этой партии и все время шел впереди, как сообщает об этом в своем дневнике Штейнгель. Петр Федорович Громницкий, член О-ва Соединенных Славян.

4) Далее в записи Штейнгеля: «Взвод солдат в авангарде, другой в арьергарде, конвойные по сторонам, — все с примкнутыми штыками и, сверх того, несколько конных казаков с пиками; мы в середине, около своих возов. Народ толпится около ворот. Служившие у нас прощались и плакали».

идти пешком, не смотря на дождь и слякоть, которые, как казалось, в самом начале хотели испытать мою решительность[1]). — Комендант нас обогнал, чтобы переправить через Читу, до коей 4 версты. — Я любовался проворством ловких бурят, переправлявших нас. — Дождь не переставал. — Холодно. Переправясь, мы пошли скоро.

Чита скрылась, мы вышли на Ингоду, оставив за собой вправе Кинонское озеро. Прекрасные виды!

Остановились в юртах при деревне Черной. — Для нас назначалось 7 юрт, 8-я для офицера. Для коменданта поодаль[2]) — еще для караульных солдат. Етот трудной переход в такую погоду нас измучил — все думали только о спокойствии — я тоже — даже забыл полюбоваться природою, на которую я в первой раз мог взглянуть не через железные решетки тюрьмы. — Но впрочем и не на что было любоваться. Природа была угрюма. Я спал как мертвой.

10-е. Переход до станции Домно-Ключевской (20 верст, 13 дворов). Близ самого станка встретили нас буряты, посланные тайшею и перевозили на лошадях через топкое место. — Везде мостки, настилки. Какая заботливость, чтоб мы не промочили ножки. Это было для нас забавно[3]).

11 числа. Дневка, дождь, — скука и досада, что нельзя полюбоваться видами. — Юрты наши промокают. — Но мы — все люди мастеровые — мы кое-как нашли средство избавиться беспокойств на ночь. — В других юртах были смешные сцены. — Редкой проспал *без омовения*.

11-е. Дневка. Дождь — в юртах сыро и холодно. — Доброй Смолянинов приходил прощаться с нами. Три предмета только заставляют меня жалеть о Чите: живописные окрестности, прекрасный климат и доброй Смолянинов![4]) О климате я говорю сравнительно с Петровским.

---

1) О решении идти пешком упоминает и Штейнгель. «Не смотря на дождь и грязь, почти все шли пешком. Я предположил выпить чашу, не проронив ни капли».

2) Сравнительно с записью Штейнгеля — допущены только некоторые стилистические изменения в первом абзаце.

3) Последняя фраза у Штейнгеля — в таком виде: «Везде мостки: видна заботливость, чтобы не подмочило ног! Это нас забавляло».

4) Семен Иванович Смольянинов — горный начальник Нерчинских заводов. Семейство Смольяниновых оказывало много услуг декабристам в Чите. Наиболее

12-е. Переход до станции Ширихонской (верст 23 двора). Чертовские дороги! — По колено в грязи, по камням в проливной дождь, мы переходили Яблоновой хребет. На самой вершине у креста мы сделали привал. Спустившись с хребта — дождь перестал. Получили газеты.

13-е. Переход до деревни и станции Шакшинской (15 ½ верст 6 юрт). Погода переставала хмуриться. Но дорога — одна грязь. Любовался Шакшинским озером. — Юрты нашли на сыром месте. — Но зато вечер нам улыбнулся [1]). — Какая ночь!

14-е. Дневка. В таком походе трудно читать что-либо сурьезное. Усталость, сон и беспрестанное развлечение не слишком хорошие союзники головным занятиям — и потому я взял *Скриба*. И в самом деле, я не мог выбрать лучшей книги в подобных обстоятельствах. — Душа и сердце мое были настроены к поэзии. Прекрасные картины природы, беспременно сменяющие одни других, новые лица, новая природа, новые звуки языка, — тень свободы хотя для одних взоров. Ночи совершенно театральные, на ночлегах наших все, все увеличивало удовольствие чтения его милого, цветистого, разнообразного картинами театра.

Шум и развлечение меня окружающими придавало большие прелести чтению. Я думал, что я в театре.

15-е. Переход до станции Кондинской (32 версты 15 юрт). Сильной, холодной ветер, но мы сделали переход весьма коро с одним привалом — В левой руке у нас осталось озеро Иргень, но мы его не видели. — Легли опять при дожде [2]).

16-е. Дневка. Что за доброй народ эти буряты! — Я бо́льшую часть времени провожу с ними в распросах и разговорах. Некоторые хорошо говорят по русски, с другими я кое-как объясняюсь помощию составленного мною словаря. Это их удивляет. — Они

полно и подробно об этом рассказывают в своих мемуарах П. Е. Анненкова и Дм. Ир. Завалишин. Дочь Смольяниновых — Аполинария в это время была уже невестой Завалишина. Брак их состоялся по выходе Завалишина на поселение — в 1839 году.

1) В записи Штейнгеля: «Погода — порядочная, но дорога очень грязная. Любовались видом Шакшинского озера. Юрты свои нашли на сыром месте, но зато небо прояснилось, и ночь была прекрасная».

2) При упоминании озера Иргень, у Штейнгеля добавлено: «куда весною из Читы и других мест ходят с образом. Есть предание, что тут находятся мощи мучеников».

3) О встрече с бурятами упоминают также Розен и Якушкин.

мне рассказывали свои сказки, две или три я списал при помощи переводчика, но потерял — жалко. Там было много оригинального китайского остроумия — монгольских сказок почти совсем нет. — Песни их ужасно глупы. — Как мы забавлялись их удивлением, с которым они смотрели на нас! — Им так много натолковали про нас их заседатели, исправники и тайши (которые, в свою очередь, тоже бог знает какое имели о нас понятие), такие строгие отдавали приказания, что бедные эти мартышки в человеческом образе воображали нас с хвостами и крыльями подобно драконам (это их собственные слова) и каждую минуту думали, что мы улетим в *хахирхай*. — Как забавно было видеть их изумление, не видя в нас ни змей, ни чертей, а веселых и добрых малых, которые их кормили и поили до *отвалу*, смеялись с ними, шутили и даже говорили по ихнему. — Бедные! — Приди мы несколько позже и может быть половина из них перемерли бы с голоду. — Боясь опоздать, местное начальство распорядилось юртами почти за целой месяц и эти несчастные за 200 и 400 верст брели высланные без куска хлеба, и из страху, чтоб они не разбежались, их не пускали шагу от юрт. — O tempores!... [sic]

17-е. [Переход] до станции Вершиноудинской (32 версты 15 юрт). Выступили в 7 часов: дорога трудная, грязная, но не смотря на все это шли скоро и в 3 часа были уже на месте. — С половины дороги пошел дождь — я измок и прозяб. — В юртах в первый раз разложили огни [1]). — Мы тотчас устроили из дерна особливую печку для того, чтобы дым не расходясь по юрте выносило в *хахирхай* (круглая дыра сверху юрты). У нас все было славно устроено. — Дорожной погребец, где было помещено все нужное; складной стол, такие же стулья, койки и прочие вещи в минуту были собраны и мы располагались в юрте, как нельзя покойнее.

Наш хозяин Розен кормил нас не роскошно, но славно. С ним мы только на дневках проводили около суток, в прочие дни он раздавал обед, тот же час отправлялся вперед, для того, чтобы на другой день, к прибытию нашему в юрты, приготовить обед.

---

1) У Штейнгеля: «несмотря на трудную, грязную дорогу и дождь, с половины пошедший, в 4-м часу пришли на место. Я очень устал и прозяб, но в юрте в первый раз разложили огонь — и я отогрелся».

18-е. Газеты: Известие о смерти английского короля и о Севастопольском бунте. —

Очаровательной вечер![1]) Ясное небо! Звезды горят ярко— кругом мрак. Окрест нашего стана пылают костры, около которых собираются разнообразные группы. В ярком пламени рисуются различные фигуры в различных положениях. Близкия деревья освещены подобно театральным декорациям; смешанный говор, ряд освещенных юрт, где мы видим одушевленные картины, и каждая из них носит на себе — особой отпечаток, бальзамической воздух — всё, всё очаровательно! — Очаровательны даже и не для узника, которому после тюрьмы и затворов, без сомнения, прелестен божий мир.

Восхожденне Марса — Кюхельбекер принимает его за Венеру. — Смех. Шутки. — Он потерялся и в замешательстве чуть не сожег юрты.

19-е. Переход до зимовья Домнинского (21 верста, 8 юрт). День прекрасный; дорога хороша; в час по полудни мы уже были на месте. Что за ночь! — Право бы не ложился спать. Но что делать — я не ангел, хочется и покушать, и поспать. — Пойду — перед сном *Dans la variété*, посмотрю на шутливого *Скриба*. Спокойной почи вам, звезды, луна и все красоты дикой природы![2])

1) У Штейнгеля — «Прекрасный вечер» — и сразу после этого следует рассказ о Кюхельбекере (Михаиле Карловиче), принявшем Марс за Венеру.

Смерть английского короля — Георга IV; «Севастопольский бунт — «чумной» бунт 31 мая — 3-е июля 1830 г. Подробности о нем — «Русск. Арх», 1867 г., стр. 1375—1384 (по указанию Б. Л. Модзалевского в Сб. «Декабристы». стр. 137).

2) Этим заканчивается запись Ник. Ал. Бестужева — у Штейнгеля дневник доведен до 23 сентября, — дня вступления в Петровский завод.

ПРИМЕЧАНИЯ.

I. Послание В. Ф. Раевского к Г. С. Батенькову печатается нами с автографа, сохранившегося в бумагах, захваченных при аресте «первого декабриста» 6 февраля 1822 г. в Кишиневе и тогда же приобщенных к делу по обвинению его в революционной пропаганде в войсках 16-ой пехотной дивизии.

Письма В. Ф. Раевского к товарищам по тайному обществу, равно как и фрагменты «рассуждений» на такие, например, темы, как «О рабстве крестьян», «О солдате» и пр., заключали в себе настолько обильный и красочный материал о политическом активизме и вольномыслии арестованного, что его стихотворные опыты (подчас даже на аналогичные темы) почти вовсе не остановили на себе внимания следственной власти и никак не интерпретировались ни в одной из разбиравших «дело Раевского» военно-судных комиссий.

Богатый литературный архив В. Ф. Раевского, опечатанный в самом начале 1822 года, на сто с лишним лет оказался погребенным в делах Главного Аудиториата, и лишь случайной цитатой из «Подражания Вольтеру» («Смеюсь и плачу»...) в труде В. И. Семевского «Общественные и политические идеи декабристов» (С.-Пб. 1909, стр. 110) ограничивались до последнего времени все наши сведения о поэтической продукции «первого декабриста» до его заключения и ссылки.

Как реальный комментарий к публикуемому ныне посланию В. Ф. Раевского к Г. С. Батенькову, можно рассматривать некоторые строки из показаний последнего от 22 марта 1826 г., в Петербурге. И автор, и адресат послания, связанные походами 1812 — 1815 гг. и последующей работой в тайных организациях, как оказывается, были товарищами еще по 2-му Петербургскому Кадетскому Корпусу.

«По вступлении в Кадетский Корпус — писал Батеньков — я подружился с Раевским. С ним проводили мы целые вечера в патриотических мечтаниях, ибо приближалась страшная эпоха 1812 года. Мы развивали друг другу свободные идеи, и желания наши, так сказать, поощрялись ненавистью к фронтовой службе. С ним в первый раз осмелился я говорить о царе, яко о человеке, и осуждать поступки с нами цесаревича. В Сибири, моей родине, сие не бывает.

«В разговорах с ним бывали минуты восторга, но для меня всегда непродолжительного. Идя на войну, мы расстались друзьями и обещали сойтись, дабы в то время, когда возмужаем, стараться привести идеи наши в действо. Война представила мне поучительную картину; но я выходил из строя за ранами [1]), должен был беспрестанно лечиться и продолжал свое образование... Военной славы не искал. Мне всегда хотелось быть ученым или политиком. Во время двух путешествий за границу мысли о разных родах правления практическими примерами во мне утвердились, и я начал иметь желание видеть в своем отечестве более свободы. Следуя природным склонностям, я оставил службу в артиллерии, приехал в С.-Петербург, занялся опять в тишине одними точными, науками, с честью держал экзамен в Институте путей сообщения, вступил в сей корпус и отправился в 1816 г. в Сибирь на помощь престарелой матери...

«В 1819 г. сверх чаяния получил я три или четыре письма от Раевского. Он казался мне как бы действующим лицом в деле освобождения России и приглашал меня на сие поприще. Я располагал жениться и отвечал ему советами оставить все опасные предприятия» [2]).

---

1) При Монмирале Батеньков получил, 30. I. 1814 г., десять штыковых ран. Именно этот случай имеет в виду Раевский в стихах 38 — 40 — «Атропа гибельным резцом» и т. д.

2) М. В. Довнар-Запольский, Мемуары декабристов, К., 1906, стр. 160.

Представляется весьма вероятным, что именно к этому времени восстановившейся переписки между пропагандистом Союза Благоденствия и будущим деятелем Северного Общества относится и печатаемая нами редакция «послания». Дата «1815», выставленная Раевским в подзаголовке, не выдерживает никакой критики, даже если ее связать не с нашим текстом, а с начальным замыслом произведения или хотя бы с его первой редакцией, так как в 1815 году Батенькова в Сибири еще не было, военную службу он оставил 7. V. 1816 г., назначение инженером в Томск получил только 5. X. 1816 г., а намек послания на таинственный «луч учения» в Сибири — легче всего ассоциируется с масонской ложей «Восточного Светила» в Томске, членом которой Батеньков стал лишь около 1818 г.

Мы располагаем тремя редакциями послания В. Ф. Раевского к Г. С. Батенькову. Первая — беловая — находится в тетради ранних (1816 — 1818 гг.) произведений Раевского, тщательно переписанных неизвестною рукою, но с позднейшими правками самого автора («Разные черновые бумаги, принадлежащие майору 32 Егерского полка Раевскому 5-му» — Архив Аудиториатского Департамента, 1827 г., № 42, лит. В, т. 11, л. 174 об. — 176 об.). Даты здесь не проставлено. Заголовок обозначен сокращенно: *Послание Б****. Переработка, которой подвергся текст первой редакции послания, свидетельствует не только о стремлении автора к стилистической отделке старой рукописи, к устранению дефектов композиционного порядка, реминисценций из Державина и слишком заметных следов подражания описательной манере Жуковского (Ср. «К Воейкову» 1814 г.), но позволяет установить и явное приспособление текста *к печати*: смягчены или вовсе устранены все сомнительные с цензурной точки зрения строфы, затушеваны слишком интимные признания, значительно ослаблен эротический элемент и т. д.

Получившаяся в результате этой чеканки рукописи *вторая* редакция послания положена была около 1819 года в основание *новой его переработки*, итоги которой мы и предложили выше вниманию читателя.

Стесненные местом, мы не можем привести здесь ни первых двух редакций послания, ни всех вариантов последнего его текста, а потому ограничимся указанием лишь двух новелл тематического порядка.

Так, вместо стихов 25 — 40 третьей редакции, в первой читались следующие строки:

Тогда под знаменами славы,
При кликах радостных побед
Ты зрел врагов преступных след
И путь их гибели кровавый.
Ты видел гордой Эльбы ток,
Ты видел города чудесны,
Ты видел горы близь-небесны,
Куда никто достичь не мог.
И где льды вечные блистают
Ты видел Рейнской водоскат,
Где блеском радуги горят
И взор и чувства утомляют.
Столицу бедствий посещал;
Привыкшею к боям рукою
За чашей полной золотою
Прелестниц чуждых обнимал.
И на лилейной груди страстной
С своею Гебою прекрасной
В восторгах сладких засыпал;
Ты видел, как народ свободный
Венки из лавров сплетал
И русских воинов венчал
И слышал глас вокруг народный
Во след спасителям царей:
«Они достойны алтарей!»

Стихам 58 — 63 («В беседе там красноречивой С тобой великий Архимед» и т. д.) в первой редакции соответствовали представления несколько иного порядка:

Там, упиваяся блаженством,
Ты с милой Лизою своей
Счастливей мрачных богачей
И, не гордясь своим первенством, —
Облегшись в неге на грудь к ней,
Лобзаешь руки белоснежны,
Встречаешь взор в восторге нежный,
Неведомый сердцам царей;

Иль, сидя у огня, мечтаешь
О друге-воине твоем
И дни, когда с тобой вдвоем
Мы были, ты воспоминаешь.

Несмотря на три дошедших до нас редакции послания и несколько исчерканных черновых листов вариантов к последнему его тексту, отделку произведения все же далеко нельзя признать законченной. Так, из 73 стихов предлагаемой нами последней редакции послания не вызывают никаких сомнений только стихи 1 — 36, 44 —48 (Дело Аудит. Департамента, 1827 г., № 42. лит. В., том 12, л. 302 $_{1-2}$) и 49 — 63 (то же дело, том 11, лист 77). Две строфы, следовавшие за стихом 36, после многократных правок были зачеркнуты и заменены ссылкой, которой соответствуют четыре строки на л. 77 и строки 41 — 42, записанные на л. 72-м 11-го тома (в разных томах следственного дела листы одной и той же редакции послания оказались, конечно, совершенно случайно). Половина стиха 43 взята нами из зачеркнутой, но не замененной редакции этого же стиха на л. 302. Что же касается концовки, то в последней редакции послания она представлена двумя почти равноправными беловыми вариантами, из которых нами взят тот, в котором сохранены стихи 64 и 65 (лист 76 об.). На листе же 77 стихи 64 и 65 после многократных правок были зачеркнуты (одно из их чтений: «И если нужно, милый друг, Киприды сын готов с стрелою»), а оканчивалось послание следующими строками:

А я — в краю предрассуждений,
Порока, зависти, суэт,
Нелепых, ядовитых мнений
И поминутно новых бед —
В отчизне милой, — но безродный
Пловец по зыблющим валам
Зрю пристань.. руки простираю,
Стремлюсь к желанным берегам
И снова в море уплываю.

Ю. Оксман.

2. Стихотворение это — автограф, один из немногих, очень редких автографов поэта-декабриста, известных нам, — находится в тетрадке его стихотворений, принадлежащей Пушкинскому Дому (из собрания П. И. Бартенева). Судя по составу и по отметкам рукою князя П. А. Вяземского, эта тетрадка — та самая, с которой, в 1830—1831 годах, в «Литературной Газете» и в «Северных Цветах» был напечатан ряд стихотворений Одоевского, без имени автора. К редакторам «Газеты» она попала, конечно, нелегально: была кем то привезена тому же князю Вяземскому, — как о том свидетельствуют Бартенев и бар. А. Е. Розен. Многие стихотворения, напечатанные тогда, остались неизвестными редакторам сочинений Одоевского: не знал о них, не смотря на свидетельство бар. А. Е. Розена, и Н. А. Котляревский [1]); некоторые из них, с прибавлением новых, были напечатаны в 1873 году в «Русском Архиве» [2]); в самое последнее время авторство Одоевского для стихотворений, появившихся в 1830—1831 гг., было подтверждено, по найденному другому автографу, И. А. Кубасовым [3]); по стихотво-

1) Н. А. Котляревский, Декабристы — князь А. И. Одоевский и А. А. Бестужев, С.-Пб. 1907, стр. 419, прим. 2-е.

2) «Русский Архив» 1873, т. I, стр. XCIX—CIII.

3) И. А. Кубасов, «Декабрист А. И. Одоевский и вновь найденные его стихотворения», Пбг. 1922, стр. 14 и след. Отметим, что наша тетрадка содержит, в автографе Одоевского, стихотворение «Старица-Пророчица», — что окончательно подтверждает предположение, высказанное И. А. Кубасовым в той же книге (стр. 75—77).

рение, напечатанное выше, в печать не попало. В подлиннике оно перечеркнуто — теми же чернилами, какими написано, и, вероятно, самим же Одоевским; автор видимо, был им недоволен и не предназначал его к печати. Князь Вяземский, напротив, хотел его напечатать: на это указывают написанное его рукою заглавие «*Ostovanie*» и внесенные в стихи поправки: стих 1-й — «небесной» вм. «небесный» (в соответствии с рифмой «тесной»), стих 3-й — «тѣсной» вм. «тесной». Стихотворение очень типично для Одоевского — своим мистическим лиризмом, тихою грустью, тоном глубокой резиньяции и скорбной обреченности, с чуть заметной жалобой на непосильно-тяжелую для поэта судьбу.

Н. Измайлов.

3. Творчество Рылеева, как творчество всех вольнолюбивых поэтов, начиная с Пушкина, а особенно — поэтов запрещенных, — окружено легендою, приписывающею ему ряд стихотворений. Большинство из них по справедливости отвергнуты издателями и исследователями; о некоторы хведется спор, — вспомним недавние статьи М. Л. Гофмана и Л. П. Гроссмана о послании «Любви, надежды, тихой славы...»; несколько стихотворений остаются под сомнением, — напр., ода «Александру I-му» («Ужасен времени полет...») и другие.

К таким сомнительным, хотя и очень вероятной подлинности стихотворениям Рылеева нужно отнести и напечатанное выше послание к А. А. Бестужеву. Оно не было известно в печати — ни в заграничных изданиях Рылеева, ни в многочисленных сборниках «запрещенных стихотворений» вроде «Лютни», но встречается, в списках, в некоторых рукописных сборниках стихотворений первой половины XIX века, принадлежащих Пушкинскому Дому. С одного из таких списков (имеющего варианты против нашего текста в 3-й строфе) напечатал его М. Л. Гофман в своей мало-известной брошюре «Поэзия К. Ф. Рылеева» (Чернигов. 1917). По недостаточной авторитетности сборника, где это стихотворение записано, и по невыясненности происхождения текста его, мы не решимся, как это делает Гофман без колебаний приписать его Рылееву. Но в тоне его и в поэтических приемах нет ничего, что бы противоречило тону и приемам гражданской поэзии Рылеева в период расцвета и зрелости его общественной мысли и поэтического дарования. Если автор его — не Рылеев, то — какой то другой из поэтов его времени и среды; по другого такого поэта, подобного ему, мы не знаем.

Н. Измайлов.

4. Приведенное выше, в подлинном французском тексте и, рядом, в переводе В. П. Буренина, стихотворение декабриста князя Александра Петровича Барятинского (род. 1798, ум. 1844 в Тобольске) взято из сборника его произведений на французском языке, изданного в 1824 г. в Москве под заглавием: «Quelques heures de loisir à Toulchin, Par le P. A. Bariatinskoy, L. Aux Hussards de la Garde» (Moscou, de l'imprimerie d'Auguste Semen, imp. de l'Académie Impériale Médico-Chirurgicale, Rue de Kislovka, 1824, 8⁰, 60 стр.; цензурное дозволение — 18 февраля 1823 г.). В книжке этой — 14 пьес, в том числе послание его к В. П. Ивашеву (декабристу), посвятительное стихотворение П. И. Пестелю (оба эти стихотворения появятся, в переводе Ф. К. Сологуба, в ж. «Былое»), стихи к кн. Е. П. Гагариной, рожд. Соймоновой, к кн. В. С. Долгоруковой, рожд. кн. Гагариной, кн. Э. П. Трубецкой, рожд. гр. Виттенштейн (княгиня Эмилия Петровна Трубецкая, родившаяся в 1801 и умершая в 1869 г., была дочерью главнокомандующего 2-ю армиею графа Петра Христиановича Витгенштейна, при котором Барятинский с 1820 г. состоял адъютантом), а также перевод на французский язык двух од Горация и отрывков из «Поликсены» и из «Фингала» Озерова.

Во время издания книжки своих стихотворений Барятинский был поручиком л.-гв. Гусарского полка. Деятельный член Южного Тайного Общества, он был отнесен Верховным Уголовным Судом к I разряду декабристов и приговорен к вечной каторжной работе. Более подробную о нем заметку нашу см. в ж. «Былое» 1926 г.

Б. Модзалевский.

5. Стихотворение это, полностью никогда еще не появлявшееся в печати, записано на вплетенном листе в одной из тетрадей архива Бестужевых, составлявшихся в 1860—1870 годах М. И. Семевским [1]). На том же листе записаны еще два стихотворения: «Клятвенное обещание» (Потупя очи, к небесам...) и «Элегия» (Свободы гордой вдохновенье...). Подписи под ними нет; но на листе — две пометы, указывающие на их происхождение. Одна — тою же рукою, какой писаны стихотворения: «Переписывала в Тригорском 18-го Июля 1865 г. К. Е. Шокальская» — т. е. Екатерина Ермолаевна, рожденная Керн, дочь Анны Петровны Керн; другая — М. И. Семевского: «извлечено из сборника М. И. Осиповой» — т. е. Марии Ивановны, дочери Прасковьи Александровны Осиповой-Вульф, владелицы Тригорского, столь известной из биографии Пушкина.

Автором «Клятвенного обещания» является Н. М. Языков. Стихотворение было впервые напечатано М. И. Семевским [2]) по автографу, находящемуся в альбоме М. П. Дириной и со ссылкой на сборник М. И. Осиповой — тот, с которого сделан и наш список; то же стихотворение дважды повторяется в двух письмах Н. М. Языкова к родным из Дерпта, от 16 декабря 1825 г., как «новейшие стихи», написанные в подражание только что принесенной присяге Николаю I-му [3]), и, по его же словам, вписано им в альбомы М. П. Дириной и А. А. Воейковой. В нашем списке под стихотворением стоит дата — та же, что под стихами памяти Рылеева — 7 августа 1825, т. е. конечно — 1826 г. В этом случае дата относится, всего вероятнее, не к моменту написания стихотворений, а к моменту записи их в сборник, принадлежавший позднее М. И. Осиповой [4]).

Другое стихотворение — «Элегия» (Свободы гордой вдохновенье...) — как известно, долго приписывалось Рылееву, не только в заграничных, но и в новых русских изданиях [5]), несмотря на решительное заявление П. А. Ефремова, что автор его — Н. М. Языков [6]). Заявлениям Ефремова далеко не всегда можно верить, но в данном случае он несомненно прав, и дата под нашим списком «элегии» — «Дерпт, 24 января 1824 г.» — и присутствие ее в сборнике М. И. Осиповой — делают несомненным авторство Языкова.

Наконец, и стихотворение памяти Рылеева не совсем неизвестно: два стиха из него, в несколько иной редакции, —

Рылеев умер, как злодей;
Да вспомянет его Россия, —

печатались в заграничных изданиях, как якобы сказанные самим Рылеевым перед казнью, на эшафоте. П. А. Ефремов, отмечая всю несостоятельность этой легенды, указал, что «два стиха, сказанные будто бы на эшафоте, составляют начало 5-стишия, написанного Н. М. Языковым» [7]). Ему, таким образом, известно было наше стихотворение — только без первых двух стихов, — известен и его автор; но первые два стиха, как мы их знаем, представляют, вероятно, испорчен-

---

1) Пушкинский Дом, собрание «Русской Старины», переплет № 5569, л. 97. Тетрадь заключает разные материалы к биографии Рылеева, полученные не только от Бестужевых. В записи, при стихотворении, ошибочная дата: «7 августа 1825 г.» — вероятно, простая описка, которую мы исправляем.

2) «Русский Архив» 1867, стр. 716—717.

3) «Языковский архив» под ред. Е. В. Петухова, т. I, С.-Пб. 1913, стр. 227 и 230.

4) Летом 1826 г. Языков гостил в Тригорском, провел там более месяца, уехал во второй половине июля (когда известие о казни декабристов еще не могло быть получено) и 24 июля 1826 г. был в Дерпте («Языковский Архив», I, 256). М. И. Осиповой было в это время 6 лет (р. 27 июля 1820 г.).

5) «Библиотека декабристов» под ред. Г. Балицкого, вып. I, М. 1906, Полное собрание сочинений Рылеева, т. I, стр. 160.

6) Сочинения Рылеева, 1872 [1], стр. 375; 1874 [2], стр. 340.

7) Сочинения Рылеева, 1872 [1], стр. 376; 1874 [2], стр. 340.

ную в копии редакцию, и в подлиннике, быть может, стихотворение звучало иначе. Все эти данные: дата стихотворения, его присутствие в сборнике М. И. Осиповой, утверждения М. И. Семевского и П. А. Ефремова — позволяют с несомненностью сказать, что автор его — Н. М. Языков.

Дерптский поэт, впоследствии, в 1840-х годах, перешедший в стан охранителей — тех ложных друзей, от которых отрекались славянофилы, — в то время, когда произошло событие 14 декабря, был еще полон либеральных мечтаний, если не глубоких, то бурных и находивших отражение в творческих порывах. Он не был лично знаком с Рылеевым, но, как видно из писем, внимательно и с сочувствием следил за его творчеством. После 14 декабря он тревожился об участи заключенных по делу и особенно Рылеева — собрата по Музам; общение с Пушкиным в Михайловском летом 1826 года должно было еще укрепить его настроение и его симпатии к осужденному поэту, — и, так же как и Пушкин, он с горестью, с каким то тяжелым недоумением встретил известие о казни пяти декабристов [1]). Плодом этого настроения явилось надгробное семистишие Рылееву, которое так уместно вспомнить теперь, в столетнюю годовщину декабрьского дня, нам, свидетелям восстания «громовых сил» России «на самовластие царей».

Н. Измайлов.

6. Поэзия А. И. Полежаева еще мало изучена и далеко не вся известна в печати. Из нескольких его произведений, хранящихся в автографе в Пушкинском Доме, — по большей части шуточно-сатирических стихотворений, — мы выбираем это одно. Оно представляет нечто вроде солдатской песни, стилизованной в духе народного языка и обращенной к императору Николаю, с явными намеками на обстоятельства его вступления на престол — восстание 14 декабря и его кровавое усмирение руками солдат, «братьев» тех, что вышли на площадь.

Стихотворение на такую тему и в таком тоне написанное, конечно не могло увидать света еще долго спустя после смерти автора. Написано оно, — так же, как и некоторые другие стихотворения, входящие в ту же тетрадь, — с большими недомолвками, замененными точками — из боязни постороннего глаза. Большинство этих недомолвок, благодаря написанным начальным буквам слов, легко расшифровываются; в одном стихе, однако, мы не могли подставить на их место определенных слов с достаточною уверенностью, а один стих — 9-й с конца — содержит выражение, неудобное для печати. Дату написания этой песни определить трудно; вся тетрадь сшита из бумаги с клеймом «1831», но в ней есть вещи и более ранние. Стихотворение входит в серию с несколькими другими и носит подзаголовок «Еще нечто», который нельзя считать собственно его заглавием.

Н. Измайлов.

7. Два напечатанных выше письма Михаила Сергеевича Лунина пополняют новыми прекрасными образцами небольшое, доныне известное частно-эпистолярное наследие этого замечательного человека, опубликованное в книгах о Лунине С. Я. Штрайха — «Декабрист М. С. Лунин. Сочинения и письма» (Пб. 1923) и С. Я. Гессена и М. С. Когана: «Декабрист Лунин и его время» (Игр. 1925; обе книги — в серии «Трудов Пушкинского Дома при Академии Наук»). Обращены они к жене декабриста Волконского, к самому декабристу (по-французски) и к их сыну Михаилу, впоследствии товарищу министра народного просвещения (по-английски). И своим внешним изящным видом, и таким необычным содержанием и формою, столь литературною, наконец — самым тоном, в котором они писаны, письма эти останавливают на себе невольное внимание читателя: достаточно представить себе, что писаны они человеком блестяще образованным,

1) Ср. «Языковский архив», том I, стр. 254—255, 260, 266.

европейски воспитанным, человеком стальной воли и непоколебимой твердости характера, попавшим, вследствие этой самой непоколебимости, из одной ужасной ссылки в другую, во сто крат худшую, — на Акатуйские рудники; что они начертывались тайком от стоявших около часовых, на тайком принесенной бумаге, бледными и жидкими чернилами и плохим гусиным пером, в полутемном душном остроге, посреди шума и гама полусотни разбойников, убийц и фальшивомонетчиков, — и в то же время — со всем внешним изяществом и даже щегольством почерка, ровными, как бы выпечатанными буквами и строками и — с удивительным чувством собственного достоинства и не только без единого слова жалобы, но даже с несколько подчеркнутым довольством своим здоровьем и спокойствием и безразличием к окружающей ужасной обстановке.

Внук декабриста, С. М. Волконский, некогда читавший эти и другие письма Лунина к своему деду, бабке и отцу, в своей увлекательной книге: «О декабристах (по семейным воспоминаниям)» говорит об этих письмах и о самом «удивительном» Лунине: «Поселенный в Урике, он был очень близок с Волконскими, глубоким почитателем княгини, другом Сергея Григорьевича и учителем их сына. Когда в 1841 году он был вторично арестован и увезен в дальний Акатуевский рудник, он оставил моему отцу свое ружье и своих двух охотничьих собак. У меня сохранялось много писем Лунина на французском языке [1]). Начиная с почерка, крепкого, четкого, сильного, эти письма врезываются в память, как что-то совершенно необыкновенное; сила духа, ясность мышления и точность выражения ставят его в совсем исключительное положение, не только выдвигая его в рядах современников, но вынося его за пределы своего времени.... Из мрака Акатуйского острога он писал в Урик несколько раз. В одном письме он говорит: «Раз вы так добры, спрашиваете, не нужно-ли мне чего из оставшихся у вас моих вещей, то прошу вас прислать мне мои часы: очень мне тяжело в бессонные ночи острожного заключения не знать, который час». Два письма к моему отцу по-английски, — он давал ему уроки английского языка, — распоряжения насчет своих охотничьих вещей и запрос о здоровье его охотничьих собак; одна звалась Дианкой, а как другая, не помню» [2]). «Могила его», говорит С. Г. Волконский в своих Записках: «должна быть близка к сердцу каждому русскому».

И она действительно сделалась дорога многим, а яркий, цельный образ Лунина привлекает к себе общее внимание, — особенно теперь, в сотую годовщину памяти декабристов, в сонме которых он занимает одно из почетнейших мест. Письма же Лунина будут рассматриваться, как литературные произведения человека, одаренного крупным литературным талантом.

Первое из публикуемых писем должно считать первым же в ряду других писем Лунина с ужасной Акатуйской каторги; второе писано почти через год после первого и дополняет собою серию ранее опубликованных писем.

Б. Модзалевский.

§. Текст публикуемого здесь «Дневника» Н. А. Бестужева воспроизводится по авторскому беловому списку, принадлежавшему ранее М. И. Семевскому и ныне хранящемуся в Пушкинском Доме при Академии Наук. Он примыкает к той обширной литературе, которая была вызвана знаменитым переходом из Читы в Петровский Завод. Как известно, этот переход был одним из крупнейших событий Сибирской жизни декабристов, и нет почти мемуаров, в которых не отразились бы, с большей или меньшей полнотой, впечатления этого перехода или «похода», как говорили некоторые декабристы. Таковы воспоминания И. Е. Аннен-

1) Письма эти сохранялись в архиве декабриста Волконского в особом пакете с надписью его руки, уже старческим почерком: «Письмы от Покойнаго моего друга Михаило Сергѣича Лунина изъ его Акатуйскаго Заточения». — *Б. М-й.*

2) Назв. соч., стр. 78 — 80.

ковой, М. Н. Волконской, Н. В. Басаргина, А. П. Беляева, Н. И. Лорера, А. Е. Розена, И. Д. Якушкина, В. И. Штейнгеля и др.

Наиболее ценным среди этой литературы следует признать недавно опубликованный Б. Л. Модзалевским «Дневник» В. И. Штейнгеля [1]). Как ни как, но на всех мемуарах всегда лежит печать некоторой ретроспективности. В позднем рассказе невольно сглаживается многое, бывшее чрезмерно острым в свое время, стушевываются мелкие, но яркие штрихи и детали и, наоборот, приобретает значение чего-то важного и необычайно существенного то, что казалось мелким и незначительным в момент непосредственного переживания.

Поденная запись Штейнгеля потому то и является таким ценным приобретением, что дает возможность ознакомиться с непосредственными впечатлениями и переживаниями декабристов в момент самого перехода. Вместе с тем вырисовывается ряд тонких мелочей быта, оставшихся незамеченными или забытыми позднейшими мемуаристами. В кратких, но содержательных записях Штейнгеля, по слову Б. Л. Модзалевского, «встает, как живая, картина длинного, многолюдного, оживленного и кипучего каравана переселенцев...»

То же можно сказать и о дневнике Н. А. Бестужева. С его страниц веет обаяние той же непосредственной свежести восприятия; читая его, как-то улавливаешь тот дух бодрости и ту силу духа, которые были так характерны для декабристов в казематскую эпоху. Особенно характерна в этом отношении запись от 11 августа: «... но мы люди мастеровые...» и т. д. Живости описания содействует и то, что автор был вместе с тем и художником - живописцем. Одна за другой ярко зачерчиваются разнообразные и живописные сцены. Ясное небо, ярко горят звезды, пылают костры, около них собираются причудливые группы, смешанный говор, освещенные юрты и т. д. — и над всем этим веет радостное восхищение узника, поставленного, наконец, лицом к лицу с природою. Огромно значение этого дневника и в биографическом смысле. Особый интерес имеют упоминания о встрече с бурятами, о составленном Н. Бестужевым уже в то время словарике, о первых опытах записывания бурятских сказок и песен и т. п.

Следует отметить и подчеркнуть одну любопытную и важную особенность. Дневник Н. Бестужева не только по характеру и значению своему близок к аналогичному дневнику Штейнгеля — он близок и по содержанию. Местами эта близость переходит в тожество. Есть целый ряд записей, с буквальной точностью воспроизводящих записи Штейнгеля. Очевидно, во время самого перехода, Николай Бестужев дневника не вел или ограничивался только некоторыми заметками, в качестве важнейших вех для будущего воспроизведения, как это часто бывает при такого рода записях. В Петровске же он, на основе записей Штейнгеля, восстановил картину пути, добавив к ним целый ряд фактических подробностей, а также придав им определенную литературную форму. Заметки Штейнгеля, при этом, он иногда, как уже сказано, приводит дословно, иногда пересказывает их с большей или меньшей близостью к подлиннику. То, что дневник Бестужева зависит от дневника Штейнгеля (а не наоборот) показывает точное воспроизведение различных цифровых данных, которые в таком изобилии приводит Штейнгель (количество верст, дворов и т. п.). Особенно показательна следующая запись: «12-е. Переход до станции Ширихонской (вер., 23 двора)». Точно такую же запись: без указания количества верст находим в соответственном месте и у Штейнгеля. Таким образом, восстанавливается, до некоторой степени, процесс создавания этого дневника: Н. Бестужев писал его по Штейнгелевской канве.

Это позволяет вскрыть и другую сторону путевых записок Н. Бестужева. Они имеют значение не только личного биографического документа из Сибирского

1) Декабристы. Неизданные материалы и статьи, под ред. Б. Л. Модзалевского и Ю. Г. Оксмана — Труды Пушк. Дома при Акад. Наук, М. 1925 г., стр. 128—148.

периода. Перед нами своеобразное художественное произведение, четкий памятник литературных вкусов и увлечений декабристов. Б. Л. Модзалевский заметил по поводу Штейнгеля, что он «сумел придать своему дневнику некоторый поэтический налет, некоторый романтический оттенок». Дневник Н. Бестужева носит уже следы определенной литературной обработки.

В литературе о декабристах уже обращалось внимание на книжное восприятие ими многих явлений жизни. По литературным образцам представляли они и будущую революцию, и свою роль в ней. Одним из таких образцов для многих декабристов — для Н. Бестужева особенно — был Стерн. Стерн играл значительную роль в его жизни. Путешествие Стерна было единственной книгой у него в крепости,—книгой, которая, быть-может, спасла его от потери рассудка; со Стерном он, по собственному его признанию, не расставался во всю жизнь. Стерновским влиянием определяется и литературное творчество Ник. Бестужева. В Стерновских тонах и с обильными Стерновскими реминисценциями построено и его наиболее значительное, автобиографическое произведение: «Отчего я не женат» [1]).

Своеобразным откликом Стерну является и этот дневник. В этом отношении особенно характерна запись от 14 августа: о тех настроениях, с которыми берется он за книжку Скриба. «Душа и сердце мое были настроены к поэзии. Прекрасные картины природы, беспременно сменяющие одни других, новые лица, новая природа, новые звуки языка — тень свободы хотя бы для одних взоров...» и т. д. В том же духе лирическая концовка, которой обрывает он свои записки. «Спокойной ночи вам, звезды, луна и все красоты дикой природы!...» Едва ли будет ошибкой отнести и этот дневник к группе чувствительных путешествий, которыми так богата русская литература конца XVIII и начала XIX века. Как ни были своеобразны и обстановка, и условия пути, впечатления неизменно отливались в готовую литературную форму.

Дух XVIII века чувствуется и в строках, посвященных встрече с бурятами. Это еще то умиленно-восторженное отношение к «диким племенам», которому учили Руссо и руссоисты. Позже Н. Бестужев сумеет иначе подойти к жизни этих племен и даст вдумчивые и глубокие очерки о быте, фольклоре и хозяйстве бурятской народности [2]).

Марк Азадовский.

[Тексты Одоевского, Рылеева, Языкова и Полежаева напечатаны по орфографии подлинников в виду необходимости сохранения, при первом появлении их в печати, всех особенностей оригиналов.]

---

1) Подробнее об этом — в нашей статье «Стерн в восприятиях декабристов». Сб. «Бунт Декабристов», Лгр. 1925 г., а также П. Е. Щеголев: П. Г. Каховский. И. 1921 г.; В. И. Маслов Интерес к Стерну в русской литературе конца XVIII и начала XIX века — Ист.-лит. Сб., посвященный В. И. Срезневскому, Лгр. 1924 г.

2) Об этнографических занятиях Н. А. Бестужева и его трудах, посвященных бурятской народности, см. М. Азадовский: Н. Бестужев — этнограф — в Сиб. Жив. Старине, III—IV, Ирк. 1925 г.; Вл. Гирченко, Литература о декабристах — Жизнь Бурятии, 1925 г., I—II.

СТАТЬИ И ИССЛЕДОВАНИЯ

Генезис „Песен Западных Славян“

Всем хорошо известна история «Евгения Онегина». Сперва Пушкин задумывает строфу, затем эту строфу заполняет романтическим материалом — начало поэмы «Таврида» — затем отказывается от композиционного замысла этой поэмы и пользуется этой строфой, равно как и большею частью фрагментов «Тавриды», в создании самого «романа в стихах». Таким образом, зерном романа явился строфический замысел — 14 строк определенным образом срифмованных.

Этот замысел конкретизировался на некотором лирическом материале. Романическая сюжетная композиция явилась последней, и она претерпевала существенные изменения в процессе творчества. Роман явился как бы постепенным развертыванием возможностей, заключенных в краткой строфической формуле: «4 croisés, 4 de suite, 1.2.1 et deux» («четверостишие перекрестное, четверостишие смежной рифмовки, четверостишие охватное и двустишие» — формула Онегинской строфы: abab, ccdd, effe, gg).

Понятно, как самый факт такогоразвития, так и все выводы, которые из него можно сделать, касаются исключительно психологии творчества, но не поэтики произведения, как вообще история текста дает нам лишь картину личных намерений автора и путей, ведущих его к цели, и никогда не даст «внутренней телеологии» произведения. Однако, и вопросы этого порядка не лишены своего значения в истории литературы или, по крайней мере, в литературной истории произведения.

В своих замечаниях на книгу Радищева (в 1833—1834 гг.) Пушкин писал: «Думаю, что со временем мы обратимся к белому стиху... Много говорили о настоящем русском стихе. А. Востоков определил его с большою ученостию и смелостию. Вероятно, будущий наш эпический поэт изберет его и сделает его народным». Эти строки ясно показывают, что Пушкин не чужд был метрического экспериментализма в области литературной обработки фольклорного стиха. Но он шел не по стопам Капниста и ему подобных, а по пути, указанному А. Востоковым. В своем «Опыте о русском стихосложении» (изд. второе, 1817 г.) Востоков дает свою формулу, которую очевидно и имеет в виду Пушкин. В главе третьей второй части он описывает «сказочные или повествовательные стихи русские», определяя их, как «стихи о *трех ударениях дактилического окончания*». «Первое ударение сказочного стиха русского может переходить с 1-го слога на 2-й и так далее, даже на 5-й слог. Второе или среднее ударение отделено от первого по крайней мере одним кратким слогом, но может отделяться от оного 4-мя, 5-ю и даже 6-ю краткими, смотря по величине стиха[1]). Третье или последнее ударение имеет непременное свое место на третьем от конца слоге: – ∪ ∪. Таким образом, с тремя частями своими русский стих принимает более *ста* вариаций» (стр. 144—145). Эти вариации Востоков иллюстрирует на примере 8-сложного стиха, выписывая следующую таблицу[2]):

– ∪ | – ∪ ∪ | – ∪ ∪
– ∪ | ∪ – ∪ | – ∪ ∪
∪ – | ∪ – ∪ | – ∪ ∪

Это определение и таблица дают нам ясное представление о взглядах Востокова. Русский стих, по его мнению, есть трехчастный стих. Положение ударения в последней части определено. В двух других частях оно свободно при условии, что ударения двух соседних частей отделены по крайней мере одним слогом. Востоков пробовал переводить Шиллера подобным раз-

1) Востоков допускает и соседство двух ударных слогов, но при условии синтаксической паузы между ними.

2) Я оставляю в стороне предусматриваемый им случай гипердактилического окончания.

мером. Однако, в своих переводах с сербского («Северные Цветы» на 1825 г.) он ввел в свою формулу коррективъ: вместо дактилического стиха, он избрал «русский размер о трех ударениях с хореическим окончанием». Очевидно — к этому размеру приложимы все те же нормы, кроме одной: последнее ударение в стихе должно стоять на предпоследнем слоге.

Привожу эту справку как исторический комментарий к словам Пушкина. Востоковские разъяснения дают нам возможность вскрыть смысл замечания о русском стихе. Отметим еще, что речь идет не о лирическом стихе (по Востокову двухударном), а об эпическом или «сказочном». Это связывает поэта в пользовании стихом, подсказывая ему «сказочную» тематику произведения, написанного подобным стихом.

И вот, первое свидетельство о попытках Пушкина конкретизировать формулу Востокова мы находим в его рукописях на обороте черновика стихотворения «Я помню чудное мгновенье».

Там мы видим запись двух строк:

Разсходились по поганскому граду
Разломали тёмную темницу

К этим строкам присоединена их метрическая формула:

⏑ ⏑ — | ⏑ ⏑ ⏑ — | ⏑ ⏑ — ⏑
» | ⏑ — ⏑ ⏑ | ⏑ — ⏑

Эта метрическая запись целиком входит в определения Востокова: трехчастность (оба стиха разбиты вертикалями на три части), одно ударение в каждой части, перемещение ударений в средней части и неподвижное положение, на предпоследнем слоге, последнего ударения. Пушкин дает метрическое осуществление Востоковской формулы. При этом к требованиям Востокова присоединяется, судя по записи, еще одно: каждая часть состоит из 3 или 4 слогов, так что полный объем стиха достигает 10—11 слогов.

К сожалению, мы лишены возможности точно датировать эту запись. Академическое издание (т. IV, стр. 286 примечаний) относит ее к 1825 году на том основании, что на обороте — фрагмент черновика: «Я помню чудное мгновенье». Однако, ничто нас не утверждает в этой датировке. Обратимся к описанию рукописи («Пушкин и его современники», вып. IV, стр. 6,

№ 18): «На лицевой стороне вторая половина (черновой набросок) стихотворения *Я помню чудное мгновенье* — начало оторвано. На об. в два ряда наброски стихотворений: 1) «*Короче дни, а ночи доле...*», 2) «*Из Рима ехал он домой...*»; ниже пробы народного стиха «*Расходились по поганскому граду...*». Дополним это описание указанием, что слова «в два ряда» надо понимать так, что разорванный листок со стихотворением «Я помню» был сложен пополам и стихи набросаны на двух страницах, образовавшихся из оборота листка. Наброски эти написаны совершенно другими чернилами, чем черновик «Я помню». Из этого следует, что написаны стихи не одновременно с первым, — тогда, когда черновик был уже уничтожен и Пушкин пользовался его клочками как чистой бумагой. Так как до нас сохранились такие заброшенные черновики от разных годов, то никакого вывода о времени записи сделать нельзя, кроме того, что сделана она позже стихотворения «Я помню». Палеографический анализ ничего не разъяснит: по почерку датировать с точностью хотя бы до одного года трудно. Почерк легко может относиться к любому году второй половины 20-х годов.

Итак, хотя дата записи нам неизвестна, но мы можем наверное сказать, что запись эта — первая мысль о стихе «Песен Западных Славян». Как мы видим — она ни в какой мере не связана с южно-славянским фольклором — разве что через Востокова, применявшего свою формулу в переводах с сербского. Но конкретный стиховой материал двух строк говорит, понятно, о русском, а не о сербском фольклоре. Ведь и Востоков в предисловии к переводам указывал, что он пишет не размером подлинника, а *русским стихом*.

Эта запись имеет такое же значение для «Песен Западных Славян», как строфическая формула 1822 года — для «Евгения Онегина». Итак, формула стиха найдена, остается облечь его в плоть слова. Нужны темы для разработки.

Здесь Востоков уже подсказал характер этих тем самым определением стиха как «сказочного». Стихи эти, по его свидетельству, «употребляются в русских народных сказках или повествовательных песнях». Правда, книгу свою Востоков заключил следующей тирадой: «Сказочный русский стих, будучи сам по себе разнообразнее песенных, был бы удобнее для поэмы, — не для

героической конечно, а для *романической*, во вкусе Ариоста либо Виланда. Главная сему причина может быть та, что русские размеры вообще по своему дактилическому и трибрахическому строению слишком игривы для важных предметов; или же, что они доселе быв предоставляемы токмо простонародной поэзии, следовательно, предметам низким и ограниченным, — через то самое лишены стали в глазах наших и благородства и возвышения. Желательно, чтобы люди с талантом попытались истребить в нас сей предрассудок, если только можно, облагородствовав и возвысив русский размер стихами своими: или бы доказали, что стихосложение русское по несовершенству своему не заслуживает извлечено быть из праха, в каком оно доселе пресмыкалось». Но это было хорошо для 1817 г. Во второй половине 20-х годов после «Руслана и Людмилы» возвращение к «*романическим*» поэмам в духе Ариоста и Виланда было невозможно для Пушкина.

Понятно, он стал культивировать этот стих в более естественной тематической среде — в литературных обработках «русских народных сказок или повествовательных песен», т. е. в жанре, который в те годы охотно именовали «балладой».

Первым более или менее законченным памятников этих опытов является одна из «Песен о Стеньке Разине».

Стихотворение, о котором я говорю, дошло до нас в копии М. Погодина (из Архива Плетнева в «Пушкинском Доме»). Так как напечатано оно не совсем исправно, с произвольной пунктуацией и неверной акцентуацией («грозён» вместо «грозен»), то воспроизвожу его целиком:

Какъ по Волгѣ рѣкѣ, по широкой
Выплывала востроносая лодка,
Какъ на лодкѣ гребцы удалые,
Козаки, ребята молодые.
На кормѣ сидитъ самъ хозяинъ,
Самъ хозяинъ, грозенъ Стенька Разинъ,
Передъ нимъ красная дѣвица
Полоненая Персидская царевна,
Не глядитъ Стенька Разинъ на царевну,
А глядитъ на Матушку на Волгу.
Какъ промолвитъ грозенъ Стенька Разинъ:
Ой ты гой еси Волга мать родная!
Съ глупыхъ лѣтъ меня ты воспоила,
Въ долгу ночь баюкала, качала,
Въ волновую погоду выносила,
За меня ли молодца недремала,
Козаковъ моихъ добромъ надѣлила. —
Что ничѣмъ тебя еще мы недарили.
Какъ вскочилъ тутъ грозенъ Стенька Разинъ,
Подхватилъ Персидскую царевну,
Въ волны бросилъ красную дѣвицу,
Волгѣ-Матушкѣ ею поклонился.

Литературность и заданность формы здесь несомненны. На 21 стиха приходится 9 стихов чистого 5-стопного хорея, два —

шестистопного. Среднее количество слогов в стихе — 10 (девятисложных стихов 2 — оба с сильной паузой после третьего слога, 11-сложных — 6). То же самое мы наблюдаем в «Песнях Западных Славян».

Литературность обработки литературного предания о Стеньке Разине здесь настолько ясна, что «Песню» эту можно считать не «записью», а оригинальным произведением Пушкина Это делает весьма вероятным предположение Морозова (Акад. изд.), что запись Погодина сохранила нам именно те «Песни о Стеньке Разине», которые были запрещены Бенкендорфом (см. его письмо к Пушкину от 22 августа 1827 г. Переписка Пушкина, II, 39). Дата письма Бенкендорфа дает основание к некоторой хронологической фиксации произведения. Относить эту «Песню» к 1825 году, как делает Акад. изд., особых оснований нет. Вернее всего она была создана после вышеразобранной записи, т. е. в 1826 или 1827 годах.

Как и запись «Расходились по поганскому граду» — стихотворение это обращается к историческому фольклору.

Следующее стихотворение, написанное подобным размером, от эпических тем переходит к лирическим. Так как печаталось оно не вполне исправно, привожу его целиком. Оно черновое— переделки не доведены до конца. Первый стих зачеркнут, но ничем не заменен:

[Еще дуютъ холодные вѣтры]
И наносятъ утренни морозы —
Только что на проталинахъ весенниихъ
Показались ранніе цвѣточки
Какъ изъ чуднова царства восковаго
Изъ душистой келейки медовой
Вылетала первая пчелка
Полетѣла по раннимъ цвѣточкамъ
О красной веснѣ поразвѣдать
Скороль будетъ гостья дорогая
Скороли луга позеленѣютъ
Скороль у кудрявой березы
Разпустятся клейкіе листочки
Зацвѣтетъ черемуха душиста —

Черновик не представляет собою законченного стихотворения. Возможно, что здесь лирическая запевка — и в дальнейшем предполагалось развитие эпических мотивов.

Датировать это стихотворение можно довольно точно. Оно приблизительно одновременно со списком стихотворений, находящимся на том же листке и доведенным до конца мая 1828 г. Стихотворение, очевидно, набросано летом 1828 г. И этот 1828 г. дает нам еще ряд стихотворений того же жанра.

На одном листке — и повидимому одновременно — рядом

с набросками, имеющими отношение к строфе LI гл. VII «Евгения Онегина» (VII глава окончена 4 ноября 1828 года) имеется черновая запись с характерными авторскими исправлениями, заставляющими видеть в этом наброске несомненно оригинальное творчество Пушкина:

Уродился я бѣдный недоносокъ
Съ глупыхъ лѣтъ брожу я сиротою
Недорослемъ меня бѣднаго женили
Новая семья не полюбила
Сударыня жена не приласкала.

Запись эту следует сопоставить с одной песнью, переданной Пушкиным в распоряжение Киреевского:

Уродился я несчастлив, бесталантлив,
Приневолили меня, малёшенька женили,
Молода была жена, я глупенек;
Стал я молодцем, жена стала старенька.
Полюбилась мне молодка молодая,
Иссушила мое сердце ретивое.
Как вечор меня молодка огорчила;
Мне несносную насмешку насмеяла:
«Отступися, мне сказала, отвяжися,
«У тебя своя жена, с ней и целуйся».
Во бору ли, во сыром ли стук-треск,
Бурлачки сосну подрубливают,
Подрубливают, поваливают,
Из сыра бора по лугу волокут,
По сырому бережку покатывают,
Середь лодочки устанавливают,
Тонкий парус навешивают,
Плывают вниз по Волге по реке.
Вы постойте, добры молодцы, погодите,
Вы с собой меня возьмите, посадите,
Разлучите с постылою со женою.

Исчерпывающий комментарий к этому стихотворению дал Н. О. Лернер. Эту песню, пишет он, «можно считать не простою записью, а либо переделкою народной песни, либо даже оригинальным произведением в народном духе, возникшим, конечно, под влиянием народных поэтических и бытовых мотивов. По крайней мере, первые десять стихов скорее принадлежат Пушкину, чем народу, и, быть может, эта песня из тех, о которых великий поэт говорил великому знатоку: «Разберите-ка, которые поет народ, и которые смастерил я сам». Сохранился в бумагах Пушкина набросок записи, начинающейся словами: «Уродился я, бедный недоносок»[1])... В имеющейся у нас копии этой записи есть стих «Недоростка меня бедного женили»... (копия Н. Лернера не точна). Характерно, что, переводя с сербского, для

1) «Пушкин и его современники», в. IV. Ср. в списке разгульных песен № 49 («Породила меня мати недоноска») и в песеннике Чулкова песню «Недоноска меня матушка родила» (Соч. М. Д. Чулкова, изд. Акад. Наук, I, 631—632). *Прим. Н. О. Лернера.*

«Песен Западных Славян» песню «Соловей», Пушкин или не понял сербского текста: «Меније мајка оженила млада» (т. е. «мать не женила меня»...), или нарочно изменил жалобу доброго молодца:

Как уж первая забота —
Рано молодца женили.»

Далее Лернер приводит известные места из «Истории села Горюхина» и «Мыслей на дороге», где, касаясь народных песен, Пушкин указывает на эту именно тему (Соч. Пушкина под ред. С. А. Венгерова, т. VI, стр. 242).

Догадка комментатора, на наш взгляд, — несомненно правильна. Десять первых стихов записи и три последних — результат литературной обработки народной песни. Средняя часть, — может быть, оставленная необработанной запись подлинной песни.

Почти одновременно с этим стихотворением Пушкин написал другое. Так как и оно до сих пор печатается неисправно (вследствие чернового своего вида), воспроизвожу его целиком:

Всѣмъ красны боярскія конюшни
Чистотой, прислугой и конями
Всѣмъ довольны добрые кони
Кормомъ, стойлами и надзоромъ.
Сбруя блещетъ на стойкахъ (?) дубовыхъ
Въ стойлахъ лоснятся борзые кони.
Лишь однимъ конюшни непригожи —
Домовой повадился въ конюшни
По ночамъ ходитъ онъ [въ конюшни (?)]
Чиститъ, холитъ коней боярскихъ,
Заплетаетъ гриву имъ въ косички,
Туго хвостъ завязываетъ въ узелъ —
Какъ не взлюбитъ онъ вороного —
На вечерней зарѣ съ водопою
Обойду я боярскія конюшни
И зайду въ стойло къ вороному —
Конь стоитъ исправенъ и смиренъ.
А по утру отопрешь конюшни

Конь не тихъ, весь въ мылѣ, грудью пышетъ,
Съ морды каплетъ кровавая пѣна [1])
Во всю ночь Домовой на немъ ѣздитъ
По горамъ по лѣсамъ по болотамъ
Съ полуночи до бѣлаго свѣта —
До заката мѣсяца ..... [2])

Ахъ ты старый конюхъ [неразумный]
Разгадаешь ли, старый, загадку?
Полюбилъ красну дѣвку младой конюхъ
Младой конюхъ, разгульный парень —
Онъ конюшни ночью отпираетъ
Потихонько воронова сѣдлаетъ,
Полегонько выводитъ за вороты.
На коня на борзаго садится
Къ [красной дѣвкѣ въ гости] скачетъ.

Черновик этот находится среди черновиков той же VII главы «Евгения Онегина», и, следовательно, стихотворение относится тоже к концу 1828 года. Обычно оно датируется — 1827 годом.

1) «При тщательном сличении печатного текста с рукописью» П. О. Морозов обнаружил, что вместо «кровавая» надо читать «кровяная». Тем не менее Пушкинское начертание этого слова не дает места подобному «исправлению».

2) Вероятно не дописан традиционный эпитет «златого».

Дело в том, что в «Памятнике Отечественных Муз» на 1828 г. появилось на эту же тему стихотворение Слепушкина «Конь и домовой». Стихотворение это (датированное 3 декабря 1827 г.) перепечатано в «Досугах сельского жителя», ч. II, изд. 1828 г., стр. 49—51, при чем в предисловии Б. Ф. (Б. Федоров) сообщал: «пиэса Конь и Домовой сочинена Слепушкиным по задаче Александра Сергеевича Пушкина» (стр. VIII) [1]). Однако факт передачи сюжета не датирует еще пушкинского стихотворения. Стихотворение Слепушкина написано раньше Пушкинского. Обзор всех предшествующих опытов Пушкина в том же стихотворном размере показывает, что в своей экспериментально-творческой лаборатории он применял этот размер для обработки фольклорных заимствованных сюжетов и тем. Очевидно и в данном случае Пушкин использовал фольклорный сюжет, убедившись, что Слепушкин не сумел его обработать более или менее удачно [2]).

Отмечу еще один момент в истории текста этого стихотворения. В. Я. Брюсов, печатая его в своем «Собрании сочинений Пушкина» (Москва. 1920. Том первый, часть первая, стр. 287), делает к нему такое примечание: «Рукопись черновая, многое зачеркнуто, *восстановлено предположительно, согласно с размером стихотворения (5-стопный хорей)*». Категорическое утверждение, что стихотворение написано пятистопным хореем, заставило В. Брюсова радикально переработать Пушкинский текст: на 35 стихов принятого Брюсовым текста им наново составлен 21 стих, т. е. на каждые 2 стиха Пушкина приходится 3 стиха Брюсова. Такая «предположительность» не говорит в пользу нового издания, но наблюдение Брюсова не теряет значения. Оно еще раньше, по поводу другого стихотворения той же серии («Только что на проталинах»...), было сделано С. Бобровым, который в своей брошюре «Новое о стихосложении А. С. Пушкина» (Москва, лето 1915 года) пишет: «Не-

1) Пушкин посетил Слепушкина вероятно в мае 1828 года. В дневнике Б. Федорова под датой 12 мая 1828 года читаем: «Разговор с Пушкиным. Сбирается к Слепушкину в Рыбацкое с Мицкевичем» («А. С. Пушкин» изд. журнала «Русской Биографии» 1911, стр. 34).

2) Отмечу, как деталь, что у Слепушкина речь идет о «гнедом». В Пушкинском черновике стих 13 первоначально читался: «не взлюбил он коня гнедова». Объясняется это вероятно тем, что слепушкинская редакция предшествовала работе Пушкина над стихотворением, и масть коня сперва прямо была взята у Слепушкина.

большой отрывочек Пушкина «Только что на проталинах весенних...», в виду обилия в нем хореических строк (6 из 11-ти), мы сочли за *двудольный паузник*» (стр. 36 — 37), т. е. в основе стихотворения Бобров увидел пятистопный хорей. И в самом деле — ранние опыты Пушкина в этом размере определенно сбиваются на пятистопный хорей:

Разломали темную темницу...
Казаки, ребята удалые...
Сам хозяин, грозен Стенька Разин...
С глупых лет меня ты воспоила...
Показались ранние цветочки...
С глупых лет брожу я сиротою
и т. под.

Это тот самый пятистопный хорей сербских песен, для варьирования которого Востоков и предложил размер, разработанный Пушкиным. Правда — одно из вышеприведенных стихотворений (первые 10 строк «Уродился я несчастлив, бесталантлив») — приближается к шестистопному хорею и составляет в этом отношении исключение, вызванное вероятно тем, что Пушкин обрабатывал народную песню стих в стих.

Очевидно, в своих первых опытах Пушкин, теоретически принимая формулу Востокова, еще не мог освободиться от навыков книжного стопосложения и впадал в обычный литературный хорей. В «Песнях Западных Славян» он обнаруживает бóльшую свободу, и там пятистопный хорей не является таким навязчивым размером[1]).

Это расхождение между намерением автора и ритмическим эффектом произведения показывает, что не всегда анализ авторских намерений приводит к познанию законов построения произведения. Но анализ стиха не является нашей задачей.

Приведенный цикл стихотворений показывает, как Пушкин, обратив внимание на формулу Востокова, около 1827 г. приступил к конкретной обработке фольклорных тем в определенной стиховой конструкции. Наибольшее количество опытов — ясное творческое «гнездо» подобных опытов — относится ко второй половине 1828 г. В этом году, работая параллельно над «Пол-

1) Об отношении стиха «Песен Западных Славян» к хорею см. мою статью в «Аполлоне» 1916 г., № 2 и Г. Шенгели: «Трактат о русском стихе», изд. 2, 1923 г., стр. 104—108.

тавой» и VII главой «Евгения Онегина», он все чаще обращается к избранному им стиху, примеряя к нему ту или иную фольклорную тему. Все это, очевидно, — лабораторные подготовительные опыты, совершаемые Пушкиным с тем, чтобы применить результаты этого экспериментального творчества на произведении большого размера. Возможно, что в том же 1828 г. Пушкин напал и на источник тем для своих «Песен Западных Славян»: «Guzla» Мериме появилась в 1827 году. Но почему-то он не сразу приступил к созданию «Песен». Разрешить этот вопрос мог бы пересмотр датировок «песен»: возможно, что часть их относится ко времени значительно раньше их напечатания.

Но так или иначе, — приступая к «Песням», Пушкин уже испытал свои силы в избранном жанре. «Песням Западных Славян» предшествует работа поэта на русском фольклоре, основные этапы которой мы и пытались здесь наметить.

Б. Томашевский.

Сожженная трагедия Гоголя из прошлого Запорожья.

«Передо мною выясниваются и проходят поэтическим строем времена казачества — писал Н. В. Гоголь из Вены 25 августа 1839 г. Шевыреву — и, если я ничего не сделаю из этого, то я буду большой дурак. Малороссийские ли песни, которые теперь у меня под рукою, навеяли их, или на душу мою нашло само собою ясновиденье прошедшего, только я чую много того, что ныне редко случается. Благослови!»[1]). Это первое глухое упоминание о новом творческом начинании несколько конкретизируется Гоголем в письме от 10 сентября к нему же: «Труд мой, который начал, не йдет; а чувствую вещь может быть славная. Или для драматического творения нужно работать в виду театра, в омуте со всех сторон уставившихся на тебя лиц и глаз зрителей, как я работал во времена оны. Подожду; посмотрим. Я надеюсь много на дорогу. Дорогою у меня обыкновенно развивается и приходит на ум содержание; все сюжеты почти я обделывал в дороге»[2]).

Таким образом, новое художественное воплощение «времен казачества» определенно ассоциируется в творческом сознании Гоголя с драматической формой, работа над которой неожи-

1) Письма Н. В. Гоголя. Ред. В. И. Шенрока, I,622. В этом же письме, определяя предположительно-недолгий срок своего пребывания в России, Гоголь говорит: «Но как только обделаю два дела — одно относительно сестер, *другое драмы*, если только будет на это воля всемогущего бога, доселе помогавшего мне в этом,—как только это улажу, то в феврале уже полечу в Рим.»

2) Op. cit., 620. Письмо помечено Гоголем *10 августа*, но, как доказывает А. И. Кирпичников, Гоголь здесь ошибся, поставив истекший месяц вместо текущего» («Извест. II Отд. Акад. Наук», 1900, V, кн. 4, стр. 1218). Предположение это вполне подтверждается и логической связью обоих упоминаний о новом творческом замысле.

данно, однако, осложняется и развернуться может, по мнению автора, только «в дороге» или «в виду театра» на родине. Подразумевая, очевидно необходимость скорейшего завершения задуманного произведения, Гоголь в следующем затем письме, от 12 сентября, к Жуковскому[1]), предупреждает, что проживет в Москве «месяц» у Погодина, «затворясь от всех и всего: мне нужно окончить мою некоторую работу».

Предположения эти, как известно, не осуществились; не доведя в такой короткий срок писания драмы в Москве до конца, Гоголь, даже в дороге вдохновляясь Шекспиром[2]), перенес к началу ноября работу свою в Петербург, условия жизни в котором с самого начала, однако, сложились для него крайне неблагоприятно. «Я не понимаю, что со мной делается. Как пошла моя жизнь в Петербурге. Ни о чем не могу думать, ничто не идет в голову»—писал Гоголь 27 ноября Погодину[3]), а С. Т. Аксакову перед этим определенно указывал, что все свои надежды вновь связывает только с возвращением в Москву, что «кроме труда, завещанного ему Пушкиным, совершение которого он считает задачею своей жизни, то есть «Мертвых Душ». у него составлена в голове трагедия из истории Запорожья, в которой все готово до последней нитки, даже в одежде действующих лиц; что это его давнишнее любимое дитя, что он считает, что эта пьеса будет лучшим его произведением, и что ему будет слишком достаточно двух месяцев, чтобы переписать ее на бумагу»[4]). Некоторый свет на фабулу нового произведения проливает относящееся, очевидно, к этому же году показание М. С. Щепкина,

1) Письма Н. В. Гоголя, II, 6.

2) Об особом его интересе в пору работы над запорожской трагедией к Шекспиру свидетельствуют, во-первых, рассказ С. Т. Аксакова о поездке с Гоголем в Петербург («Миша подсмотрел даже, какую книгу он читал: это был Шекспир на французском языке») и, во вторых, просьба самого Гоголя в письме от 7 июля 1840 г. из Вены — «спросить у Погодина, не нашелся ли мой Шекспир 2-й том, который взять ему с собою и прибавить к этому оба издания песней Максимовича» («Рус. Арх.» 1890, VIII, 18 и «Письма Н. В. Гоголя», II, 60).

3) Op. cit., II, 20.

4) С. Т. Аксаков, «История моего знакомства с Гоголем» («Русск. Арх.» 1890, VIII, 24). Рассказ Аксакова о задуманной Гоголем «трагедии из истории Запорожья» впервые воспроизведен был П. А. Кулишем, получившим его от самого автора для «Записок о жизни Гоголя» (С.-Пб. 1856, I, 252). Вариантов отмеченные нами строки здесь не имеют, за исключением одной перестановки: «все готово, даже до последней нитки в одежде».

которому Гоголь сделал в Москве подобное же признание: «Ну, М. С., будет вам славная работа. У меня есть драма за выбритый ус, в роде Тараса Бульбы. Я скоро ее окончу»[1]).

Но и на этот раз ожидания Гоголя не оправдались: напряженно работая над отделкой прежних своих произведений, занятый продолжением «Мертвых Душ», он не чувствовал в себе уже достаточно сил для осуществления нового замысла и будучи вообще очень скуп на свидетельства о своих начинаниях, не только сам больше не касался неожиданно остановившейся драмы, но и сторонних обращений к ней явственно избегал. Так, когда М. С. Щепкин, как передает П. А. Кулиш, имел неосторожность спросить у Гоголя об этой драме при свидетелях, Гоголь «отперся и отвечал, что никогда не говорил ничего подобного; но, выходя из комнаты, шепнул Щепкину на ухо: «Болтун, ничего больше не скажу»[2]), а на подобный же вскоре вопрос С. Т. Аксакова, «махнув рукою, не сказал ни слова»[3]).

Выезд из Москвы 18 мая 1840 г. за границу сразу должен был оживить чрезвычайно подавленного затянувшимся пребыванием на родине Гоголя. В позднейшем письме к Погодину об освежающих и бодрящих впечатлениях дороги, когда «как разбуженный рой пчел» зашевелились в нем «мысли», а «воображение» стало особенно «чутко», он отмечал, что уже в Вене «сюжет, который в последнее время лениво держал я в голове своей, не осмеливаясь даже приняться за него, развернулся передо мною в величии таком, что все во мне почувствовало сладкий трепет, и я, позабывши все, переселился вдруг в тот мир, в котором давно не бывал, и в ту же минуту засел за работу»[4]).

О том, что этот творческий порыв, сменившийся вскоре тяжким «нервическим расстройством», определенно связан был с занимавшей Гоголя драмой, и мир, в котором он «давно не бывал», был мир украинских преданий, песен и летописей —

1) «Записки о жизни Н. В. Гоголя». СПБ., 1856, I, 331. П. А. Кулиш, передавая это сообщение М. С. Щепкина, приурочивает его к «первому приезду» Гоголя в Москву, т. е. до поездки с С. Т. Аксаковым в Петербург.

2) Op. cit., 331.

3) «Русь» 1880, VI, 16.

4) Письма Гоголя, II, 80. В. И. Шенрок считает относящимся к трагедии и явное упоминание о «Мертвых душах» в этом же письме (op. cit., 82).

свидетельствует прежде всего тогдашний спутник и сожитель Гоголя В. А. Панов: «В Вене, писал он С. Т. Аксакову, в продолжение почти 4-х недель, я видел ясно, что он чем то занят. Хотя он и в это время лечил себя, пил воды, прогуливался, но все еще ему оставалось свободное время, и он тогда перечитывал и переписывал свое огромное собрание малороссийских песен, собирал лоскутки, на которых у него были записаны поговорки, замечания и проч.». Как сообщает далее Панов, в последних числах октября 1840 г. Гоголь «угостил» его в Риме уже «началом нового произведения. Это будет, как он мне сказал, трагедия. План ее он задумал еще в Вене, начал писать здесь. Действие в Малороссии. В нескольких сценах, которые он уже написал и прочел мне, есть одно лицо комическое, которое, выражаясь не столько в действии, сколько в словах, теперь уже совершенство. О прочих судить нельзя: они должны еще обрисоваться в самом действии. Главное лицо еще не обозначилось»[1]). Сам Гоголь, видимо, был не особенно доволен слишком медленным ходом работы над драмой и в письме от 30 октября 1840 г. к П. А. Плетневу о рецидивах своей венской болезни отмечал: «Я начал такую вещь, какой, верно, у меня до сих пор не было, — и теперь, из под самых облаков да в грязь!»[2]).

Лоскутки, отделку которых, как было отмечено выше, наблюдал в Вене В. А. Панов, в бумагах писателя частично сохранились, и в 1861 г. были опубликованы в журнале «Основа» П. А. Кулишем, объединившим их общим заголовком — «Заметки и наброски Н. В. Гоголя для драмы из украинской истории»[3]).

Основанием для приурочения вновь найденных записей к известной ранее лишь цо слухам трагедии из истори Запорожья явилась собственноручная Гоголевская помета в одном из фрагментов, который приводим полностью:

1) Op. cit., 89. Ср. замечания об этом письме Н. С. Тихонравова, Сочин. Гоголя, изд. Х. М., 1889, I, 636—637.

2) Op. cit., 86. В своих примечаниях к седьмому тому тихонравовского издания В. И. Шенрок ошибочно отнес эту цитату к письму Гоголя от 17 окт. 1840 г. к Погодину. (Соч. Гоголя, VII. СПб., 1896, стр. 584). Окончание трагедии Гоголь имел, вероятно, в виду, отмечая в письме от 28/XII 1840 г. из Рима: «Если только мое свежее состояние продолжится до весны или лета, то может быть, мне удастся еще приготовить что нибудь к печати, кроме первого тома «Мертвых Душ» (op. cit., II, 94).

3) «Основа» 1861, I, 116—120.

КАК НУЖНО СОЗДАТЬ ЭТУ ДРАМУ.

Облечь ее в месячную чудную ночь и ее серебренное сияние и в (теплое) роскошное дыхание юга.

(Осветить). Облить ее сверкающим потопом солнечных ярких лучей, и да исполнится она вся нестерпимого блеска!

Осветить ее всю минувшим и вызванным из строя удалившихся веков, полным старины временем, обвить разгулом, козачком и всем раздольем воли.

И в потоп речей неугасаемой страсти, и в решительный, отрывистый лаконизм силы и свободы, и в ужасный, дышущий диким мнением порыв, и в грубые, суровые добродетели, и в железные, несмягченные пороки, и в самоотвержение неслыханное, дикое и нечеловечески-великодушное.

И в беспечность забубенных веков.

Этими тирадами в характерном для художественных волеизъявлений Гоголя патетическом стиле определялись, таким образом, только общие принципы построения нового произведения, к самой фабуле которого должно быть отнесено содержание большинства прочих фрагментов[1]). Представляют собою они, во-первых, некоторые схематизированные моменты драмы [а) «Сказавши монолог, долго кричит. Выходит мать. «Дочь, у тебя болит голова» и пр. б) «Входят, возвещают и советуют

1) Мы несколько расходимся здесь с Н. С. Тихонравовым, который, на основании некоторых внешних, хотя и чрезвычайно иногда существенных признаков (анализ бумажного материала), разбил опубликованные Кулишем «лоскутки» на три особые группы, из которых признал относящимися «несомненно» и «целиком» к драме из Украинской истории только вторую и частично первую (Соч. Н. В. Гоголя, изд. X, М. 1889, т. V, 533—536, 673—677). Что касается прочих фрагментов, то, вместе с известными в другом контексте записями на той же бумаге— J. Whatman Turkey Mill 1838 (выписки из книги Шерера «Annales de la Petite Russie etc. Paris, 1788, извлечения из русского издания «Описание Украйны Боплана» 1832 г.),—Тихонравов отнес их к материалам для новой редакции« Тараса Бульбы», один из черновых отрывков которой дошел до нас с этим же водяным знаком (op. cit., I, 577—590, 625—6, 663). Предположительно связывая вслед за тем все эти «выписки, наброски и отрывки» с пребыванием Гоголя в Вене в 1839 г., Н. С. Тихонравов приходит к выводу об его одновременной там работе над переделкой «Тараса Бульбы», и драмой из Украинской истории. Несмотря на то, что об этом параллелизме творческих интересов никаких свидетельств ни самого Гоголя, ни его современников до сих пор неизвестно, предположения Тихонравова немедленно усвоены были всеми последующими редакторами и интерпретаторами «Тараса Бульбы» — с тем лишь иногда вариантом, что дата водяного знака совершенно отожествлялась с началом новой редакции. (С тем же «основанием» можно, напр., к 1828 г. относить «Мертвые Души», один из отрывков которых (изд. X, VII, 530) дошел до нас на бумаге с водяным знаком «1828 г.»). Между тем, в полном согласии с известным текстовым материалом, собственными признаниями Гоголя и данными авторитетных мемуаристов можно было бы утверждать, что неожиданное обращение Гоголя в 1839 г. к родной старине связано было исключительно с задуманной им трагедией из истории Запорожья, и лишь неудача последней, не ранее конца 1840 г., определила частичное перемещение подготовленного для драмы художественного материала в новую редакцию «Тараса Бульбы»

бежать. «Бегите и спасайтесь, жены и бабы. Ляхи за нами, и грабят и жгут» и проч. в) «Отречение от мира совершенное. А между тем рисуется прежнее счастье и богатство, которое могло. Прощание слезное с молодыми летами, с молодыми радостями, со всем и строгое покорение судьбе» и пр.], во-вторых, черновые сентенции отдельных персонажей (напр., большой монолог, очевидно, героя — «Вдохновенная, небесно ухающая чудесная ночь, любишь ли ты меня» и пр.; слова, вероятно, «дочери» — «Внутри рвет меня, все тяжко мне» и т. д.; «Отвечает сравнением, иносказательно: «правда, случается, что вол падал, издыхал, но под рукою человека» и пр.; «Войны, кажется, ожидать ненужно, потому что мужицкая и козацкая снаровка бунтовать» и т. д.) и, наконец, в-третьих, выписки из исторических источников — в сыром виде (напр., «Улицы древней Варшавы») или в слегка переработанном (переложение в «разговор между мужиками» материала о крестьянских повинностях из русского издания «Описания Украйны Боплана»[1]).

Ко второй группе перечисленных нами фрагментов должен быть также отнесен не сохранившийся, к сожалению, «лоскуток», о содержании которого передает П. В. Анненков в своих воспоминаниях о переписке летом 1841 г. в Риме, под диктовку Гоголя, первой части «Мертвых Душ». «Надо сказать, что Гоголь перечитывал в то время «Историю Малороссии» кажется Каменского, и вот по какому поводу. Он писал драму из козацкого запорожского быта, которую потом бросил равнодушно в огонь, не довольный малым действием ее на Жуковского: история Малороссии служила ему пособием. О существовании драмы я узнал случайно. Между бумагами, которые Гоголь тщательно подкладывал под мою тетрадку, когда подготовлялся диктовать, попался нечаянно оторванный лоскуток, мелко на мелко писаный его рукою. Я наклонился к бумажке и прочел вслух первую фразу какого-то старого казака (имени не припомню), попавшуюся мне на глаза и мною удержанную в памяти: «и зачем это господь бог создал баб на свете, разве только, чтоб

1) Ср. подобный же композиционный прием в Гоголевской переработке материала H. Hallam'a «L'Europe au moyen âge» в массовые сцены драмы из английской истории «Альфред» (1835 г.), предшествовавшей «запорожской трагедии» и также оставшейся незавершенной.

казаков рожала баба»... Гоголь сердито бросился ко мне с восклицанием: «это что?» вырвал у меня бумажку из рук и сунул ее в письменное бюро» [1]).

Помимо художественных фрагментов трагедии, о которых сохранились положительные свидетельства самого автора и его современников, надлежит рассматривать как материал, несомненно широко использованный Гоголем для драмы, старые черновые наброски его неудавшегося романа из исторического прошлого Украины «Гетьман». В композициях Гоголя неоднократно привлекали внимание исследователей творческие вариации на прежние, уже не в первый раз им же эксплоатируемые темы, художественная утилизация в новых произведениях давно намеченного и частично уже даже выявленного образного, звукового, бытового и исторического материала. Постепенное исчерпывание содержания дошедших до нас «лоскутков» недовершенного «Гетьмана» нельзя не признать в данном отношении особенно показательным: произведение это, занимавшее Гоголя между 1830 и 1833 г., было оставлено после того, как определившиеся в процессе работ над ним контуры «Тараса Бульбы» стали развертываться в самостоятельный сюжет, потребовавший для своего оформления материала, отчасти уже использованного писателем для начальных глав первого его романа. Немедленным приспособлением к новому художественному заданию характернейших деталей прежнего построения предопределялось, разумеется, крушение «Гетьмана», как известного повествовательного целого, но отнюдь не понижалось тематическое значение отдельных его фрагментов. Последние еще в течение долгого времени продолжали занимать Гоголя: в начале 1834 г. он одну из глав уничтоженного романа — «Кровавый Бандурист» — тщательно отделывает для «Библиотеки для Чтения»; через несколько месяцев, несмотря на запрещение этих страниц цензурой, включает их (без эффектного финала и с новым заголовком — «Пленник») в «Арабески»; строки, здесь не использованные, — о «черном голосе, который слышит человек перед смертью», — перерабатывает для конца «Старосветских помещи-

1) П. В. Анненков. «Гоголь в Риме летом 1841 г.» (Воспоминания и критические очерки, С.-Пб. 1877, I, 209).

ков»; самую же завязку «Гетьмана», сохраняющую некоторую конструктивную значимость даже после появления «Тараса Бульбы» и «Пленника», Гоголь выделяет из старой записной книжки и увозит в числе немногих необходимых ему для работы бумаг заграницу [1]). Художественная реализация заключающегося в черновиках «Гетьмана» материала могла быть связана только с новым творческим воплощением «времен казачества» и, так как за рубежом первым опытом такового явилась сожженная впоследствии трагедия [2]), то именно в ее фабуле и получили наиболее яркое отражение ранее намеченные Гоголем сценарии, персонажи, реплики и экспозиционные мотивировки.

Месть за ус, выдранный будущим вождем народного восстания Остраницей у предводителя отряда польских коронных войск [3]), — мотив, возможно, навеянный рассказом «Истории Руссов» о наказании Чаплинского [4]), — определяла интригу «Геть-

1) Ср. наше исследование фрагментов «Гетьмана» и критич. обзор прежних данных о нем в «Литературном Музеуме» (Мат. I отд. IV сек. Гос. Арх. Фонда), СПБ., 1919, I, 347 — 356).

2) В. И. Шенрок в «Хронологич. указателе к X изд. соч. Гоголя» (VII, 957) без всяких пояснений приурочивает «наброски драмы из запорожского быта и, может быть, не написанной комедии *Выбритый ус*» к 1837 г., а к 1839 г. относит «продолжение пьесы *Выбритый ус*». Эта произвольная датировка и необоснованное раздвоение занимавшего Гоголя между 1839 и 1841 г. произведения противоречит не только комментариям Тихонравова в этом же издании, но и собственным указаниям Шенрока в «Материалах для биографии Гоголя» (III, М., 1895, стр. 291, 334, 454, 457), и в его же позднейших примечаниях к «Письмам» (I, 620).

3) а) «В молчании шел начальствовавший отрядом и непостоянный огонь светильни, окруженный туманным кружком, бросал в лицо ему какое-то бледное привидение света, тогда как тень от бесконечных усов его подымалась вверх и двумя длинными полосами покрывала всех. Одни только грубо закругленные оконечности лица его были определительно тронуты светом и давали разглядеть глубоко-бесчувственное выражение его, показывавшее, что все мягкое умерло и застыло в этой душе, что жизнь и смерть — трын-трава, что величайшее наслаждение — табак и водка, что блаженство там, где все дребезжит и валится от пьяной руки. Это было какое то смешение пограничных наций: родом серб, буйно искоренивший из себя все человеческое в венгерских попойках и грабительствах, по костюму и несколько по языку поляк, по жадности к золоту жид, по расточительности его козак, по железному равнодушию дьявол» (Соч. Гоголя, изд. X, V, 315).

б) «Славный у тебя ус, пан!» Проговорил он, подступив к нему близко. «Хороший! У тебя, холопа, не будет такого», произнес он расправляя его рукой. «Славный. Только не туда ты, пан, крутишь его. Вот куда нужно крутить. Мощный казак дернул сильной рукою так, что половина уса осталась у него (op. cit., V, 74).

4) «История Русов или Малой России», М. 1846, стр. 50. Ср. Н. С. Тихонравов, I, 663—664. Совершенно несостоятельное предположение о завязке тра-

мана» и, как эффектная завязка, прежде всего, очевидно, была перемещена во вновь задуманную трагедию из истории Запорожья. По крайней мере сам Гоголь в своем признании Щепкину отмечал: «у меня есть драма *за выбритый ус*, в роде Тараса Бульбы», а С. Т. Аксакову указывал тогда же, что будущая пьеса — его «*давнишнее* любимое дитя».

Это двойное свидетельство о трагедии, подкрепленное сопоставлением ее фрагментов с известными нам набросками «Гетьмана», позволяет установить наличие в них не только одной и той же завязки, но, отчасти, и обусловленного ею действия, тожество важнейших персонажей, композиции, словаря, песенных реминисценций и, наконец, некоторых традиционных контуров старого казачьего быта.

Как и в романе, перипетии развертывающегося сюжета должен был сковать типический облик народного вождя эпохи войн с Польшей, и возможно, что дважды уже использованным именем «молодого, но сильного духом гетмана Остраницы», который даже в *Тарасе Бульбе* «предводил всею несметною казацкою силой», Гоголь, согласно традиционной поэтике, вновь оттенял «garantie de possibilité» своей трагической эпопеи.

Коллизия любви и долга, обозначившаяся в «Гетьмане», осложняла, вероятно, и интригу драмы; к наброскам II и IV глав романа должны были восходить предуказанные планом «речи неугасаемой страсти»; возлюбленную Остраницы — Галиночку и ее старую мать выявляли в несколько неожиданном свете схемы известных сцен — «Сказавши монолог, долго кричит. Выходит мать» и проч.; «самоотвержение неслыханное, дикое и нечеловечески великодушное» могло быть связано с последними страницами «Кровавого Бандуриста»; запомнившаяся П. В. Анненкову реплика старого козака — «И зачем это господь бог создал баб на свете» и проч., почти без перемен воспроизводила окрик старого Пудька (гл. III). — «Добродию, позволь

гедии нашло себе место в юбилейном реферате В. С. Катранова «Гоголь и его украинские повести»: «не позволяет ли «выбритый ус», относительно «драмы за который» говорил Гоголь Щепкину, — напоминающий известный рассказ о том, как Петр Великий схватил однажды за ус Мазепу, предположить, что сюжет драмы взят был именно из эпохи Петра Вел. и Мазепы: такое предположение кажется тем более вероятным, что, напр. отрывки речей одной из безымянных героинь драмы напоминают [?!] Мотрю Кочубеевну» («Фил. Зап.» 1909, VI, 52—53).

кием угомонить проклятую бабу! Что это за соромный народ! Пришла-ж охота господу богу породить этакое племя» и т. д.

В цитированном выше разговоре с С. Т. Аксаковым о трагедии Гоголь, между прочим, отмечал, что все в ней им уже обдумано «до последней нитки, даже в одежде действующих лиц»; насколько ценным был и в этом отношении материал «Гетьмана» видно, напр., из ряда дополнительных к нему набросков, посвященных костюму героини: «шелковая плахта и кашемировая запаска туго обхватывали стан ее... Два широкие рукава, шитые красным шелком и все в мережках спускались с плеча» и т. д. (V, 549 — 550).

Еще одно обстоятельство не может не быть учтено при разрешении вопроса о связи занимавшей Гоголя драмы с фрагментами «Гетьмана»: рукопись последняго обнаружена была, как известно, среди вещей, оставленных Гоголем у Жуковского во Франкфурте [1]).

Приведенное уже нами показание П. В. Анненкова является хронологически последним достоверным свидетельством о сожженной яко бы через несколько лет самим автором трагедии из истории Запорожья. Подробности ее уничтожения передаются несомненно всеми, в том числе и Анненковым, со слов Ф. В. Чижова, который в интересном «мемуаре», воспроизведенном Кулишем в «Записках о жизни Гоголя» упоминал о следующей своей беседе с Жуковским в 1843 г.: «на замечание мое об отсутствии драмы в Мертвых Душах, Жуковский отвечал мне: «Да и вообще в драме Гоголь не мастер. Знаете ли, что он написал было трагедию? (Не могу утверждать, сказал ли мне Жуковский ее имя, содержание и из какого быта она была взята, только как то, при воспоминании об этом, мне представляется, что она была из русской истории). Читал он мне ее во Франкфурте. Сначала я слушал; сильно было скучно; потом решительно не мог удержаться и задремал. Когда Гоголь кончил и спросил, как я нахожу, я говорю: «Ну, брат Ник. Вас., прости,

1) «Этот черновой отрывок — замечал первый издатель начальных глав «Гетьмана» — сохранился в числе бумаг, оставленных Гоголем у В. А. Жуковского» (Соч. Гоголя, V, М. 1856, стр. 369). Ср. соображения об этой же рукописи — П. А. Кулиша («Зап. о жизни Гоголя», I, 170), и Н. С. Тихонравова (op. cit., V, 549).

мне сильно спать захотелось». — «А когда спать захотелось, тогда можно и сжечь ее, отвечал он, и тут же бросил в камин. Я говорю: «И хорошо брат сделал» [1]).

Оставляя открытым никогда по существу не разрешимый вопрос, была ли уничтожена Гоголем во Франкфурте завершенная уже трагедия или лишь законченная к моменту чтения небольшая ее часть [2]), можно довольно точно определить как самое время сожжения неудавшегося произведения, так и некоторые, обусловившие этот акт привходящие обстоятельства.

Известно, что, выехав осенью 1841 г. в Россию, Гоголь некоторое время «гонялся за Жуковским» и «поймал его уже во Франкфурте» в последних числах сентября нов. стиля [3]). Дневники Жуковского за этот год не сохранились [4]) и о подробностях его встречи с Гоголем, кроме беглых упоминаний в письмах последнего к А. А. Иванову, мы располагаем только одним свидетельством: «Мне не хотелось, чтобы свидание наше — писал Гоголь 26 июня 1842 г. Жуковскому — было похоже на свидание прошлого году, когда у Вас много было забот и развлечений, и вместе с тем сосредоточенной в себя самого жизни, и было вовсе не до меня, и когда мне, тоже подавленному мно-

---

1) П. А. Кулиш, op. cit., I, 330—331. В дневнике А. В. Никитенко об этом же сделана была 11 мая 1866 г. менее точная запись: «Однажды Гоголь просил Жуковского выслушать какую-то вновь написанную им пьесу и сказать о ней свое мнение. Это, кажется, было за границей, в Дюссельдорфе, где находился Жуковский. Чтение пришлось как раз после обеда, а в это время Жуковский любил немножко подремать. Не в состоянии бороться с своею привычкою, он и теперь, слушая автора, мало-по-малу погрузился в тихий сон. Наконец, он проснулся. «Вот видите, Василий Андреевич, сказал ему Гоголь, — я просил у вас критики на мое сочинение. Ваш сон есть лучшая на него критика». И с этими словами бросил рукопись в тут же топившийся камин. Этот анекдот передал мне Ф. В. Чижов со слов самого Гоголя». («Записки и дневник», т. II, СПБ. 1905, стр. 292). Несмотря на то, что Чижов в своем «мемуаре» говорил о трагедии *исторической* (понятия «русской» и «украинской» истории в данном случае для него и Жуковского были, разумеется, равнозначны), И. С. Аксаков предположительно отнес к сожженному произведению две черновые сцены несохранившейся Гоголевской драмы из *современного* быта (V, 101 — 104), опубликованные впервые в 1881 г. («Русь» 1881, XII, 10 — 19).

2) Наивный опыт реконструкции всей сожженной трагедии на основании небольшой лишь части давно известного о ней материала, к тому же неверно переданного и произвольно истолкованного, принадлежит И. М. Каманину («*Памяти Гоголя*. Сборник речей и статей, издан. Университ. св. Владимира», Киев. 1911, 91 — 98).

3) Письма Н. В. Гоголя, II, 113.

4) Ср. Дневники В. А. Жуковского. С примеч. И. А. Бычкова, СПБ. 1903.

гими ощущениями, было не под силу лететь с светлой душой к вам навстречу. Душе моей тогда были сильно нужны пустыня и одиночество. Я помню, как, желая передать вам сколько нибудь блаженство души моей, я не находил слов в разговоре с вами, издавал одни только бессвязные звуки, похожие на бред безумия, и может быть, до сих пор осталось в душе вашей недоумение, за кого принять меня и что за странность произошла внутри меня» [1]).

Болезненное состояние необычайно, как известно, повышало мнительность Гоголя, особенно обостряя отношение «взыскательного художника» к последним, самого его мало удовлетворявшим творческим достижениям. Под влиянием неудавшегося свидания впечатлительность автора несомненно должна была усилиться, и в атмосфере, с достаточной ясностью определенной впоследствии им самим, неожиданное невнимание Жуковского к привезенной драме и вызвало, очевидно, немедленное ее уничтожение.

Как и всегда в таких случаях, Гоголь суеверно избегал каких бы то ни было упоминаний о своем неудавшемся произведении, но можно думать, что именно с суровым отзывом Жуковского о сожженной драме была связана характерная мотивировка одного из Гоголевских пожеланий в конце цитированного выше письма: «Ради бога сообщите мне ваши замечания о «Мертвых Душах». *Будьте строги и неумолимы как можно больше. Вы знаете сами, как мне это нужно*» [2]). 20 июля 1842 г., повторяя свою просьбу о присылке замечаний на «Мертвые Души», Гоголь писал Жуковскому в тех же тонах: «Вы одни можете мне сказать все, не останавливаясь какою то внутреннею застенчивостью или боязнью в чем нибудь оскорбить авторское самолюбие. Атакуйте, напротив того, самые чувствительнейшие нервы: это мне нужно слишком» [3]). Особую выра-

1) Письма Гоголя, II, 184. Проф. Е. В. Петухов в специальном этюде «Гоголь и Жуковский» обошел молчанием занимающий нас эпизод Франкфуртского свидания («Памяти Н. В. Гоголя и В. А. Жуковского», Юрьев. 1902, стр. 1 — 44); совершенно не остановился на нем и проф. Н. Ф. Сумцов в своем очерке «В. А. Жуковский и Н. В. Гоголь» («Харьковский Университ. Сборник в память В. А. Жуковского и Н. В. Гоголя», Харьков. 1903, стр. 51 — 67).

2) Op. cit., 185.

3) Op. cit., 187.

зительность приобретают оба эти отражения резкого осуждения Жуковским уничтоженной трагедии, если принять во внимание, что после Франкфуртского свидания никаких следов драматической обработки сюжета из истории Запорожья уже неизвестно, а в письмах конца 1842 г. к Н. Я. Прокоповичу и М. С. Щепкину [1]), Гоголь как нечто совершенно непреложное отмечал: «помните себе хорошенько, что уже от меня больше ничего не дождетесь: я не могу и не буду писать ничего для театра».

Ю. Оксман.

1) Op. cit., 241 и 235.

Валерий Брюсов.

Дело поэта должно быть оценено с какого-то пункта. Одно и то же поэтическое явление, один и тот же факт поэзии играет разную роль в разные эпохи. Вчера он был движущимся и живым и сам был двигателем литературного развития, сегодня он стирается, становится сгустком, который живой литературе нужно обойти, а завтра может снова стать точкой отправления для возникающих новых течений. Тогда как современники (и принимающие и отвергающие поэта) знают главный пункт его работы, его направление, его организующий принцип, — и из этого пункта исходя, расценивают все дело поэта, — последующим поколениям он сказывается прежде всего разнообразием отдельных направлений, скрещивающихся в нем, отдельными участками поэтического слова, даже отдельными жанрами и вещами. Здесь — необходимость литературного развития: последующие литературные поколения используют не самое направление поэтического слова, — а его результаты, они отправляются не от главного пункта, а от частных результатов, — и один частный результат зачастую перевешивает по своему эволюционному значению все дело поэта.

Вещь остается, работа поэта перед нами, в любой момент она перед глазами у нас, — но функция вещи изменчива, и вместе с ее изменением теряется главный пункт, с точки зрения которого мы ценим поэтические вещи, как процесс и направление, а не как сгустки, — пункт, с которого видно историческое значение явления.

Смерть заканчивает или обрывает линию развития, она смыкает дело поэта в одно целое, — и нередки случаи, когда она затемняла взгляд на поэта в течение десятилетий. (Таковы ранние смерти, — Веневитинов, можно смело сказать,

исторически не выяснен, потому что слишком большое место в его биографии заняла смерть; все его творчество было окрашено и затушевано в сознании и ближайших современников, и потомков его рамантической смертью).

Но, вместе с тем, смерть как бы выравнивает дело поэта, сближает в нем разновременные пункты, — а это наглядно показывает, как эволюционно незначительное было той же природы, что и значительное, и только не совпало с линией истории. Она заставляет современников прежде всего попытаться нащупать тот главный пункт, который, может быть, будет ускользать от более поздних, пусть даже и внимательных, читателей.

Если мы остановимся на вопросе, что нового, что своеобразного в Брюсове, как литературном явлении,—нам вовсе не вспомнится одна какая-либо вещь, одна какая-либо до конца характерная для него особенность, ему одному свойственный оборот стиха, интонация, с ним неразрывно связанная. (Стоит подумать нашему современнику о Блоке, как ему сразу вспоминается какая-то интонация, только его характеризующая и только с ним связанная. Вот почему подражание Блоку узнается сразу). А между тем эта самая Блоковская интонация, особая культура его четерехстопного ямба, сменившая для десятых годов XX века Пушкинскую, — была дана ранее уже Брюсовым:

Где я последнее желанье
Осуществлю и утолю?
Найду ль немыслимое знанье,
Которое, таясь, люблю?

(Последнее желанье, 1902).

То же можно сказать и о другом характерном стихе Блока; вот он у Брюсова, — в раннюю (для Блока) эпоху:

Снится сине море, снится царский сын,
Знаешь страсть и горе, хоть на час один.
Утро. С образницы кроткий свет на всех.
Тихо как в гробнице. За окошком — снег.

(Терем, 1903).

Здесь и образы, и интонация, и метр — Блоковские до Блока; Брюсова же они не характеризуют.

Характеризуют Брюсова не результаты работы, не качество ее, — Брюсов, как литературное явление, характеризуется самым ее направлением.

В направлении, в принципе поэтического дела, — пафос, характерный только для Брюсова. Этот принцип остался неизменным во все течение жизни и деятельности Брюсова; но в первую половину его деятельности, — этот принцип с линией литературной эволюции, с историей совпадал, и потому был сложен, как все исторически живые явления, во вторую же — он действовал по инерции, вне исторической среды, и поэтому, как всегда бывает, упростился и стал бедным. Поэтому же в первый период вещи Брюсова ощущались, как направление поэтического слова, а во второй, — как вещи.

Как нужен был Брюсов, как требовала его литература, мы можем судить из «внезапности» начала его деятельности, из «внезапной» (для него самого, как для всех) его популярности. Он сам пишет, что в один прекрасный день проснулся если не знаменитым, то во всяком случае — героем всей фельетонной прессы. Как всегда, слава шла от непонимавших и непринимавших, от того течения литературы, которое было на ущербе, ждало последнего удара и увидело (сначала без прочного основания, а потом и с полным основанием) — этот последний удар — в Брюсове. В 1894—95 гг. вышло две тетради «Русских Символистов»; Брюсов выступил в печать окруженный характерной средой; товарищами его были — литературные дилетанты. «Критики насильно навязали мне роль вождя новой школы, — пишет Брюсов, — maître d'école, школы русских символистов, которой на самом деле не существовало тогда вовсе... Таким образом, я оказался вождем без войска».

Школы не было; существовали старшие — Сологуб и Бальмонт; существовали одиночки: Ал. Добролюбов и Коневской. Предстояло углубить и расширить движение, захватить для него возможно более широкие области. Такой центральной фигурой для символизма стал Брюсов. Что же однако выделило Брюсова? В чем была та основная дерзость, которая дает центральное положение, и без которой никакой «вождь», — с войском или без войска, — немыслим? Где корни той борьбы, которая закипела в 90-х годах вокруг него? Ответ Брюсова

почти неожиданный: «В двух выпусках «Русских Символистов», которые я редактировал, я постарался дать образцы всех форм «новой поэзии», с какими сам успел познакомиться: vers libre, словесную инструментовку, парнасскую четкость, намеренное затемнение смысла в духе Маллармэ, мальчишескую развязность Римбо». Это был «сознательный подбор образцов, делающий из них как бы маленькую хрестоматию».

Итак, «сознательный подбор», «маленькая хрестоматия» — и нет сомнения, что не только «затемнение смысла в духе Маллармэ», не только «мальчишеская развязность Римбо», — но в первую очередь их намеренность, сознательность, хрестоматийность, — вот что оскорбляло. Над словом экспериментировали, стих, слово оказывалось объектом почти научных опытов. Слово, бывшее неприкосновенным сгустком, окруженным ореолом «вдохновения» предшествующей литературной теории и практики — было изменяемо с почти математической дерзостью. Вместо эмоциональной неприкосновенности «вдохновения» — нагой интеллектуальный подступ к слову вплотную. Вместо «поэта» — пытатель.

Это было важным пунктом в борьбе с неощущавшимся более, сглаженным, ставшим как бы не обязательным стиховым словом эпигонов 80-х годов, со стихом, вертевшимся в колесе упрощенной и суженной стиховой культуры второй половины XIX века, — вернее, одного участка ее.

Выход из гладкого слова и эпигонского стиха был возможен только при изменении самого отношения к слову. Недаром Брюсову «преимущественно хотелось стать великим изобретателем или великим путешественником», и понятно, что его в детстве «соблазняла слава Кеплеров, Фультонов, Ливингстонов» (слова его автобиографии). Он и стал сначала изобретателем, а потом и путешественником — в слове.

Изменение отношения к слову сказывалось по разному у разных современников. Коневской — один из глубоко влиявших на Брюсова поэтов, научивший его «ценить глубину замысла в поэтическом произведении», — писал в 1895 г.: «Привычнейшие, повседневнейшие зрелища, звуки — если бы только чуть-чуть побольше, поглубже вникнуть в них, как бы плотнее нажать их, вместо того, чтобы скользить по их поверх-

ности — вдруг открыли бы нам тайные ходы и неведомые глубины».

В первых опытах Брюсова чувствуется скорее геометр; они — как бы наблюдения над стиховыми системами, попытки перевести слово из одной системы словесных координат в другую. Многие помнят впечатление разорвавшейся бомбы от первых опытов Брюсова (какими бы элементарными и, в сущности, банальными ни казались они теперь).

Стихотворение:

«О закрой свои бледные ноги» —

ударило, повидимому, в цель. И здесь, конечно, оскорбляли не столько самые слова, сколько то, что стихотворение было однострочным, что в нем чувствовался эксперимент.

Первый сборник Брюсова (1894 — 96 г.) был прямым и упрямым парадоксом. Таково уже название его: «Chefs-d'Oeuvre»: «В те дни русские поэты, впервые появляясь перед публикой, считали нужным просить снисхождения, скромно предупреждая, что они сознают недостатки своих стихов и т. п. Мне это казалось ребячеством: если ты печатаешь свои стихи, возражал я, значит ты их находишь хорошими; иначе не-зачем их и печатать. Такой свой взгляд я выразил в заглавии своей книжки».

В предисловии к книге есть парадокс, который глубже, чем, вероятно, хотел этого сам автор: он пишет, что формой его произведений является сюжет, тема, а материалом — «слова, звуки, краски». В 90-х годах говорить о том, что сюжет и тема — форма, формирующее начало, — было конечно простым и вероятно несложным парадоксом. Но в том то и была сила Брюсовского отношения к слову, — что его парадоксы поддерживались эволюцией литературы, — и что они переставали быть простыми парадоксами. Брюсовские темы, сюжеты — создаются, подсказываются всем его литературным положением, всей совокупностью задач, возложенных на него, как на распространителя символизма, как на завоевателя наиболее широких областей для течения, у него становится темой самый принцип его работы, — и в этом смысле темы Брюсова были действительно для него формирующим началом, — вернее, — основ-

ной принцип его искусства сказывался с наибольшей силой в его тематике.

Темы первого его сборника — «отверженные». Такова парадоксально кричащая, нарочито банальная эротика первого сборника. Как в начале XIX века «легкая поэзия» (в противовес старшей) должна была стать эротической, чтобы изменить подход к слову, так должен был измениться самый эротический канон в конце XIX века с тою же целью. В 1816 г. Батюшков писал, что эротика «дает новую пищу языку стихотворному». Через 80 лет положение было то же. Тема «любви», господствовавшая тогда в ходовой лирике, узаконила общие эмоции, традиционно-расплывчатые, и язык, который собственно почти не замечался своею «обязательностью». Наперекор «любви» — была выдвинута Брюсовым резкая и оскорбительная «эротика», подвергшаяся нападениям критики.

Любопытно, как разделы первой книги почти в точности совпадают по темам с разделами позднейших. Стоит сравнить «Будни» «Шедевров» с «Повседневностью» «Stephanos'a» (1905). Здесь появляются уже и те рисунки пером, те офорты, которые впоследствии развиваются в живопись «Любимцев веков», а отсюда — и в баллады «Stephanos'a».

«Отверженная» трактовка и в ранних темах природы:

> Есть что то позорное в мощи природы
> Немая вражда к лучам красоты.

Эта «отверженная» поэтика сказалась и впоследствии («Яростные птицы»). Она, в применении к теме города, дает образы «Замкнутых». Начавшись с простого парадокса, она сказывается особыми красками, необходимыми для новой описательной поэзии («Чудовища»).

Слово, переведенное из системы обязательных эмоций в новую интеллектуальную систему, сказалось новизной своего положения — в темах. Это интеллектуальное отношение к слову подчеркивает сам Брюсов, характеризуя своего современника: «Он поражал прежде всего вечной, неутомимой, ожесточенной сознательностью своих поступков... Он словно не жил, а смотрел на сцену, где главным актером был

сам-же, словно не действовал под влиянием страстей, а проделывал над своей душой различные опыты.

Он выплыл к нам пытателем в ладье».

Это, конечно, общая черта первых «пытателей» символизма, — черта, неминуемо в них связанная с переводом слова в другие системы.

«Ожесточенная сознательность» в подходе к слову сказывается особыми, новыми приемами поэзи. Слово оказывается объектом борьбы; название третьего сборника Брюсова «Tertia vigilia» — характерно в этом случае не менее, чем первое, парадоксальное: «Шедевры». Здесь же — связь между этим периодом в искусстве и темой, характерной для всех «сверстников, деятелей нового искусства» — темы «свободы и силы» (Брюсов о Коневском).

Это сказывается и в особенностях трактовки у Брюсова. Природа у Брюсова — интеллектуальная, почти рационалистическая; в стихах о природе и о любви у него всегда действующее лицо — сам поэт, наблюдатель, дидактик, сурово анализирующий и разлагающий слежавшуюся до конца обыденную эмоцию этих тем. Наблюдение, сознательность, знание — любимая фабула Брюсова, — и вместе ключ его стиля.

Для слуха каждый звук разделен,
Когда взволнуются леса;

в водах Иматры он слышит «размер ямбического триметра». Интеллектуальны его перифразы:

Море в бессильном покое,
Образ движенья исчез.

Это отвлечение, абстрагированная перифраза встречается у Брюсова в самых по теме «мимолетных» и «легких» эмоциональных стихах:

Ты из лазурных туманов
Вышла на трепетный зов,
Около старых платанов,
В час окликания сов.

Наперекор окружающей традиции — он отвергает эмоциональные «оттенки» в темах природы, не только свойственные

ходовой лирике 80 — 90-х годов, но и провозглашавшиеся каноном символистов. Он предпочитает яркие краски, — и здесь вводит образы вещные (как когда-то делал Державин):

Луг цветами пестро вышит...
... Желтым шелком,
Желтым шелком,
По атласу голубому
Шьют невидимые руки...

Эта отчетливость сказывается и в том, что Брюсов охотно употребляет пластические, как бы скульптурные образы.

И здесь любопытно, как сознательно Брюсов идет к этим образам. В своей юношеской поэме «Идеал» — по теме романтической, полной «намеков» и намеренно смутных «оттенков», — он во 2-м издании производит характерные перемены — к отчетливости.

Стихи:

И первая встреча шепнула им много.
Как ландыш на сердце проснулась тревога;
Мелькнула, скользнула за тонким стеклом
Пурпурная бабочка легким крылом —

изменены на следующие:

Они обменялись медлительным взглядом...
И девичьим, белым, прозрачным нарядом
Она замелькала меж тонких стволов...

Стихи:

Вся жизнь озарилась огнями с тех пор,
Как будто на небе застыл метеор,
Как будто бы мир задрожал от мелодий
И сон ароматный разлился в природе —

изменены были так:

Сияньем их жизнь озарилась с тех пор,
Как будто на небе застыл метеор;
И стали их дни многоцветны и ярки,
Как радостных радуг воздушные арки.

Таковы основные черты Брюсовского пейзажа, выпуклого, сознательно-скульптурного:

...Выгнулся купол эфирный
...Из тихого канала
Как белые громады
Встают ряды коней...

Словно змеи, словно нити,
Вьются, путаются, рвутся
В зыби волн огни луны.
Но серебряные змеи,
Извивая под лучами
Спин лучистые зигзаги,
Беспощадными губами
Ловят, ловят все смелее
Птиц, мелькающих во влаге.

Таков его городской пейзаж:

Горят электричеством луны
На выгнутых длинных стеблях.

Таковы же пластические декорации его баллад, которые вместе с яркими красками, на них наложенными, можно сравнить по эфекту с раскрашенным мрамором Клингера:

По беломраморным ступеням
Царевна сходит в тихий сад.
... Стоят столбы и дремлют цепи.
... Весь сводчатый и стоколонный
Царя подводного дворец.

Отчетлив и рационалистичен и его синтаксис, даже в «стихийных» темах, даже в темах смутного:

Морю ли ставить препоны
Валом бессильных огней?

Он пользуется и оттенками, как красками, — Брюсовские «оттенки», там, где он их употребляет, — принципиальны, намеренны, и этой намеренностью сказываются; они так-же обнажены, как краски. Они в первую очередь живописны, а не музыкальны.

Это как бы рационализм смутного; рассчитанность антитез — превращает у него смутную тему в симметрическое сознание смутного:

Ночь — как тысяча веков,
Ночь — как жизнь в полях за Летой.
Гасну в запахе цветов
Сплю в воде, лучом согретой.

Этот интеллектуальный ключ слова перестраивает у Брюсова эмоцию; такова эмоция страшного, ср. «В неконченном здании»:

Нам страшны размеры громадные
Безвестной растущей тюрьмы...
О думы упорные, вспомните!
Вы только забыли чертеж.

Здесь эмоция дана через призму абстракции, отвлечения, — таково обращение: «О думы упорные, вспомните».

Здесь как бы интеллектуальный ужас геометра: «размеры громадные».

От этого «ожесточенно-сознательного» подхода, данного в перифразе, данного в отвлеченностях стиля, — один шаг к забытой давно и восстановленной Брюсовым в правах аллегории.

В стихах о природе аллегорические образы Брюсова перекликаются с аллегорическими образами Тютчева:

Горящее лицо земля
В прохладной тени окунула.

В других темах — открывался путь к дидактической аллегории, к возобновлению суровой аллегорической оды и описательной поэмы:

И дальше тропой неизбежной,
Сквозь годы и бедствий и смут,
Влечется суровый, прилежный,
Веками завещенный труд.

В оде «Война» — это роднит Брюсова с XVIII веком:

На камнях скал, под ропот бора,
Предвечной силой рождена,
Ты — дочь губящего Раздора,
Дитя нежданное, Война.

Поэтому Брюсову удается политическая ода («Кинжал» и др.) аллегорического стиля; отсюда же и другой его жанр, дидактическая и описательная поэма. Начиная с «Замкнутых» до «Чудовищ», «Парижа», «Италии», идет развитие его описательного стиля. Характерно название отдела его Urbi et Orbi — «Картины».

В дидактической поэме Брюсов развил аллегорию, внеся ее в конкретные темы:

Ты должен все смешать в чудовищном сосуде.
Блестит его резьба, незримо тает муть.
Ты властно всех берешь в зубчатые колена
И мелешь души всех, и веешь легкий прах.
А слезы вечности кропят его как росы...
И ты стоишь, Париж, как мельница в веках.

Аллегоричны его метафоры, проведенные до конца, до полной ясности второго члена образа (и затемнения первого):

Плотины баррикад вонзал ты смело в стены
И замыкал поток мятущихся времен,
И раздроблял его в красивых брызгах пены.
Он дальше убегал, разбит, преображен.

Это не метафора романтика, опирающаяся на эмоциональные связи слов, а скорее тот семантический слом, который получался в итоге метафоры, как «сопряжения далеких идей» у так называемых «ложно-классиков». Метафора Брюсова — острыми, сталкивающимися краями может быть уподоблена метафоре Ломоносовской.

В монументальной дидактической форме Брюсова за тогой дидактика всегда сказывается оратор с привычными ораторскими приемами:

Ты знал ее меж содроганий,
И думал, что она твоя...
И вот она с безвестной грани
Приносит тайну бытия...
Ребекка! Лия! мать! с любовью или злобой
Сокрытый плод нося, ты служишь как раба.
(Habet illa in abo).

Страна, измученная страностью судьбы!
Любовница всех роковых столетий!
Тебя народы чтили как цари
И императоры как дети...
... Италия! священная царица!
Где ныне скипетр твой и лавровый венец?
... Италия! несчастная блудница,
И вот к чему пришла ты, наконец!
(Италия).

Почти античный ритор слышится в симметрии антитез;

Заснул он во дворце — взор открыл в темнице,
И умер, не поняв, прошел ли страшный сон.
(Париж).

Дидактика была и у других символистов — у Бальмонта, напр., но ни у кого другого она не была обязательна и нова, — именно потому, что ни у кого другого не вскрылся с такой остротой (неприемлемой для старших современников) перевод слова в новую систему — интеллектуальную, именно потому, что Брюсов всей своей деятельностью возобновлял старое значение ритора и дидактика. Его «Любимцы веков» можно сравнить с «Легендою веков» Гюго.

Дидактик чувствуется и в тех афоризмах, тех сентенциях, которые делают отдельные стихи Брюсова эпиграмматически запоминающимися формулами (которые любил XVIII век):

Я был, я мыслил, я прошел как дым.
Крутите жизнь — и с ней меня!

Иногда — это подлинные изречения:

Довольно споров. Брошен жребий.
Плыви, мой конь, чрез Рубикон!

Торжественная ода и суровая поза дидактика противоположны интимной лирике. Говоря о своем современнике, лирике узкого диапазона, он замечает: ... «У него совсем нет баллад и поэм. Его поэзия дневник, он не умел писать ни о ком, кроме как о себе». В противоположность этому чистому лиризму, Брюсов тяготеет к темам вне-личной лирики. В его первой книге стихов уже есть любопытные «рисунок тушью» («Прокаженный»), «гравюра» («Львица среди развалин»), «бронзовая статуэтка» («Жрец»), — тот жанр офортов, который культивировали западные символисты. Перед Брюсовым стоят здесь характерные задачи — слово в его отношении к изобразительному искусству. Тогда как для Бальмонта показательна ориентация на музыку (по признанию Брюсова «Бальмонт открыл ему тайну музыки стиха»), — для Брюсова характерна ориентация на живопись и пластику: стремление к рисунку. В первой своей книге он тяготеет именно к рисунку, еле намеченному, как бы обведенному пунктиром — таковы «К монахине», «В старом Париже», где три стиха образуют основу всего стихотворения, повторяясь и разнообразясь на протяжении всего стихотворения:

Холодная ночь над угрюмою Сеной,
Да месяц блестящий в раздробленной влаге,
Да труп позабытый, обрызганный пеной.

Здесь — как бы штрих рисунка, только намечающий возможность фабулы, — возможность баллады. Таков же «Беглец» — с его гравюрным бесцветным пейзажем и зарисовкой прыжка.

Еще шаг — и в «Tertia Vigilia» (все сборники Брюсова построены не только по определенному, но в сущности по одному и тому же неподвижному плану), — отдел портретов: «Любимцы

веков». Брюсов оживляет свои первые лирические рисунки монологом; действующие лица начинают говорить; все стихотворение — монолог:

Я — вождь земных царей и царь Ассаргадон.
Владыки и вожди, вам говорю я: горе.

В «Жреце Изиды» Брюсов уже достигает того веса слов, той лаконичности, которую требовал лирический монолог:

Я — жрец Изиды Светлокудрой;
Я — был воспитан в храме Фта,
И дал народ мне имя «Мудрый»,
За то, что жизнь моя чиста.

Соединение всех этих элементов с красками описательной поэзии — дали Брюсовскую балладу.

Баллады Брюсова — общепризнанный центр его творчества, потому что здесь был полный и оправданный выход для ораторского начала его поэзии и для разрешения задачи живописного слова, — и она же удовлетворяла требованию разнообразия тем, которое вытекало из положения Брюсова, как канонизатора символизма, расширявшего и захватывавшего количественно тематическую область. Но если мы примем «балладу» Брюсова за тот жанр, который связан для XIX века с именами Жуковского с одной стороны, Катенина, Пушкина и Некрасова с другой, — мы конечно ошибемся. При яркой фабуле, — баллады Брюсова даны вне сюжета; они статичны, как картина, как скульптурная группа. Из сюжетного развития выхвачен один «миг»; все сюжетное движение дано в оцепенении этого «мига». Поэтому почти все баллады у Брюсова имеют вид монолога; поэтому же мы не найдем резкой жанровой разницей между его «балладой» и не-балладой. Здесь целая цепь незаметных переходов, делающая самый жанр общим, расплывчатым.

Ораторское начало сказывается в балладах Брюсова с полной силой; все они — монологи (а в «Stephanos'e» и диалоги), превращающие стих в патетический театр:

... Вот сослан я в каменоломню,
Дроблю гранит, стирая кровь.
Но эту ночь я помню! помню!
О, если-б пережить все — вновь!
(Раб).

Интонации превращены в жесты, даже определенные жесты, — жесты театральные (это достигается тем, что обращения и прямая речь как бы вторгаются в рассказ, синтактически не спаяны с ним, выделены):

И вздрогнула она от гнева,
— Казнь — оскорбителям святынь!
И вдаль пошла — среди напева
За ней толпившихся рабынь.
Я подала ей чашу с ядом,
О, спи! твой сон глубок и строг!
И мы с тобой на ложе рядом
В последний раз у этих ног.

И наконец «Путник» — с яркой декорацией, с драматизмом положения и жестов и чисто театральной скупостью диалога.

Достигнув вершины в балладах «Urbi et Orbi», Брюсов доводит до логического развития все отдельные стороны своего балладного стиля в балладах «Stephanos'a» («Stephanos», считающийся вершиной Брюсовского творчества, — на самом деле уже книга, не намечающая новых «путей» — и уже клонящаяся к «перепутьям». Она как бы подводит итоги, развивает то, что было дано в «Urbi et Orbi»). В балладах «Stephanos'a» — монолог уже развился в отчетливый стиховой диалог («Адам и Ева», «Орфей и Евридика»), яркая декорация «Путника» — стала гиперболически пестрой в «Медее»; так же, как гиперболичны и глаголы:

На позлащенной колеснице
Она свергает столу с плеч.

... Узду грызущие драконы,
Взметая крылья, рвутся в высь;
Сверкнул над ними бич червленый, —
С земли рванулись, понеслись.

Но здесь же — и самое сильное у Брюсова использование монолога в «Ахиллесе у Ахтаря» — монолог здесь дан не столько в его речевой функции, сколько в сюжетной, монологист дает только очерк сюжета, — этот монолог как бы вырван из связной стиховой драмы, — и тем сильнее затушеванный, скрытый монологом, стоящий вне монолога сюжет.

В балладе Брюсов дал подлинное ощущение жанра. Не то в остальных родах. Отчетливый номенклатор, Брюсов создает порою искусственно жанровые определения для своих

стихов. Больше всего это относится к элегиям Брюсова. Балладная и описательная живопись разрушают здесь впечатление установившегося жанра и не создают ощущения нового. Таково, напр., «Свидание», где на основе «элегического» (для конца XIX — начала XX века) метра даны приемы, противоположные интимной лирике:

Был яркий летний день, но сдвинутые шторы
Отрезывали нас от четкого луча;
Во мгле искусственной сияли смутно взоры
И грезились черты прически и плеча.

Таков «Прощальный взгляд» — с типичным балладным ходом:

Я сквозь незапертые двери
Вошел в давно знакомый дом,
Как в замок сказочных поверий,
Постигнутый волшебным сном.

Между тем, в этом — в жажде захвата жанров, — сказывается все та же основная черта, тот же центральный пункт. Новому течению предстояло распространиться на возможно более широком пространстве и — закрепить завоевания. Нужен был поэт-изобретатель и поэт-путешественник, поэт, который, как изобретатель, переведя слово из одной системы в другую, стал бы путешественником по области тем. И этот принцип закрепляется в творчестве Брюсова. Одна за другою скрещиваются традиции, завоевываются темы. Этому соответствует и исторически сложное отношение Брюсова к традициям. Мало найдется русских поэтов, которые бы в такой степени усвоили самые разнообразные, самые противоречивые традиции.

Брюсов проходит в молодости большой путь усвоения нескольких линий, от Некрасова и Надсона к Лермонтову, от Лермонтова к Пушкину, от Пушкина к Жуковскому и «старшим» символистам: «Влияние Пушкина и влияние старших символистов причудливо сочеталось во мне, и я то искал классической строгости Пушкинского стиха, то мечтал о той новой свободе, какую обрели для поэзии новые французские поэты. В моих стихах того времени (90-е годы) эти влияния перекрещивались самым неожиданным образом». Это не было эклек-

тизмом, — это было нужным обогащением усталой стиховой культуры. Чтобы преодолеть эту усталость и выйти из сглаженного круга, нужна была широта традиций. Есть периоды, когда поэзия не нуждается в этой широте, когда она живет силою ограниченного числа традиций; есть эпохи, когда национальная поэзия замыкается в себе и сама разрешает свои вопросы.

Эпоха Брюсова нуждалась в обратном. Нужны были, — пусть противоречивые, но широкие традиции, — дверь литературы была распахнута на Запад. Брюсов усвоил в большой мере и западные влияния, но усваивал и поэтику «отверженных» и парнасцев и Верлэна всегда с основного своего пункта; его Верлэн, как Шиллер Жуковского, явление, многим отличающееся от иностранного образца; эклектизм Брюсовских традиций был исторически оправдан. Но таков неизбежный исторический закон: борясь против усталого стиха, широко соединяя разные и противоречивые традиции — и этим сдвинув его, стих Брюсова, совершив свою эволюционную роль, неизбежно оборачивается к нам своей другой стороной и кажется по той же причине усталой, переобремененной стиховой культурой.

Свою исторически оправданную позицию Брюсов ясно сознавал и закрепил в своих стихах. Он сделал принципы своего творчества своей темой, — и так как принцип этот заключался в парадоксальном переводе слова из области сглаженных эмоций в область нарочито интеллектуальную и в перекрещивании противоречивых традиций, — то тема оказывалась заранее парадоксальной; таков образ «поэта» у Брюсова:

... Вперед, мечта, мой верный вол,
Неволей, если не охотой!
Я близ тебя, мой кнут тяжел,
Я сам тружусь — и ты работай!

... И странно полюбил я мглу противоречий,
И жадно стал искать сплетений роковых.
Мне сладки все мечты, мне дороги все речи
И всем богам я посвящаю стих.

Брюсов ввел в поэзию пафос изобретателя, пафос научного опыта над жизнью слова. Недаром книга, изданная через 25 лет после хрестоматии «Русские Символисты», так же как и она, стремится представить образцы поэзии и носит полу-

научный характер («Опыты»). Но за это время была проделана слишком большая и сложная эволюция в области стихового слова, чтобы эти опыты оказались нужными, как первые. Они показались даже нехарактерными для самого Брюсова. А между тем, это художник, проделав свой путь, начатый с обнаженного принципа, оплодотворившего слово, — к концу, когда путь сузился, снова пришел к нему же, обнаженному. В этих опытах уже говорится о «каноне», о существовании «совершенных форм», — как бы отрицается сентенция молодого Брюсова:

В искусстве важен искус строгий,
Прерви души мертвящий плен
И выйди пламенной дорогой
К потоку вечных перемен.

Если раньше искусство и наука были для Брюсова одним и тем же по методу изобретения, теперь они стали для него близки по своей нормативности, повелительности, «законности».

Чем больше областей было захвачено, тем больше страсть изобретателя сменялась энергией путешественника. Без этой страсти путешествия по темам становились однообразны. Направления, которым сказывались раньше вещи Брюсова, не было, — были готовые вещи. Такова судьба всех деятелей искусства, которые призваны историей охватить для своего направления наибольшую область, чтобы до конца исчерпать его.

Это было вместе с тем часом всего течения.

Но Брюсов войдет в историю русской поэзии не только своими «завоеваниями». Он войдет в нее и как новый для своей эпохи тип поэта. Интеллектуальный пафос опыта над жизнью слова, суровая позиция дидактика и ритора — эти черты были несвойственны «поэту» в представлении русской стиховой культуры XIX века — и напоминают лишь некоторые явления Запада (Гюго).

10 декабря
1924 г.

Ю. Тынянов.

МАТЕРИАЛЫ.

Письмо Пушкина.

Nous avons reçu une invitation de la part de Madame la Comtesse Bobrinsky: M-r et M-de Pouchkine et sa soeur etc. Delà grande rumeur parmi mes femelles (comme dit l'Antiquaire de W. Scott) la quelle? Comme je suppose que c'est simplement une erreur, je prends la liberté de m'adresser à vous pour nous tirer d'embarras et mettre la paix dans mon ménage.

Je suis avec respect, Monsieur le Comte,

Votre très humble et très
obéissant serviteur

A. Pouchkine.

6 janvier
1835.

На обороте:

Monsieur le Comte Bobrinsky etc. — de la part de M-r Pouchkine.

Перевод: Мы получили такое приглашение от Графини Бобринской: Г-н и Г-жа Пушкины и ее сестра и т. д. Отсюда — большое волнение между моим бабьем (как выражается Антиквариий В. Скотта): которая? Так как я предполагаю, что это просто ошибка, то беру смелость обратиться к вам, дабы вывести нас из затруднения и водворить мир в моей семье. — С уважением, Граф, ваш нижайший и покорнейший слуга А. Пушкин. 6 января 1835 г.

На обороте: Графу Бобринскому и пр. от Г-на Пушкина.

Письмецо это или, вернее, записка Пушкина [1]) обращена к гр. Алексею Алексеевичу Бобринскому и, как видно по точной дате, относится к тому времени, о котором Пушкин кратко, но выра-

1) Она печатается нами по списку, сохранявшемуся в архиве Раевских, — семьи, родственной графам Бобринским по Самойловым.

зительно записал в Дневнике, уже в феврале 1835 г.: «С Генваря очень я занят Петром. На балах был раза 3; уезжал с них рано. Придворными сплетнями мало занят. Шиш потомству». — В числе упомянутых трех балов, очевидно, был и тот вечер у Бобринских, на который Пушкин получил не совсем точно формулированное приглашение, введшее в недоумение и волнение женскую половину его семьи,—т. е. жену и двух ее сестер— Коко и Азиньку, т. е. фрейлину Екатерину Николаевну (впоследствии вышедшую за барона Дантеса, убийцу Пушкина) и Александру Николаевну (впоследствии также фрейлину, по мужу баронессу Фризенгоф): приглашена была, как будто-бы, одна из этих свояченицы Пушкина, а между тем ехать на бал хотелось обеим ... Дом Бобринских, в конце б. Галерной улицы[1]), был очень известен в высшем Петербургском свете; он «привлекал и собирал в себе избранное общество», — особенно благодаря высоким душевным качествам своих хозяев — самого гр. А. А. Бобринского, образованнейшаго человека (внука Екатерины II), его жены, — славной своим умом и любезностью гр. Софьи Александровны, рожд. гр. Самойловой, и матери, — уже престарелой гр. Анны Владимировны, рожд. бар. Унгерн-Штернберг, считавшейся одною из умнейших и наиболее любимых дам высшего круга; она была очень расположена к Пушкину и, как видно по его Дневнику, не раз выручала его из неловких положений во время появлений поэта при дворе... Характеристики Бобринских даны нами в комментариях к нашему изданию «Дневника» Пушкина[2]), — к которому мы и отсылаем желающих подробнее узнать этих знакомых поэта и прочесть, что пишет о них он сам. Скажем лишь, что цитата Пушкина из Вальтера Скотта лишний раз свидетельствует нам о прекрасном знакомстве его с творениями знаменитого шотландского исторического романиста, собрание сочинений которого находилось в его личной библиотеке в нескольких изданиях — английских и французских, — и о том, как четко помнил он действующих лиц В. Скотта, — в данном случае антиквария Ольдбука.

Б. Модзалевский.

1) Теперь там находится Бытовой Отдел Русского Музея.
2) Пгр. 1923, стр. 68—70 и 88—89.

Неизданные отрывки Гоголя.

«Что это за Зима! Какъ || ужъ она намъ надоѣла эта || Зима! Всё снѣгъ да снѣгъ, куды || какъ весело, невыходи изъ дому || незакутавшись напередъ въ шубу || Скучно въ окно взглянуть все || одно да одно ни травки, ничего... || только мужикъ съ дровами проѣдетъ || на рынокъ. Право даже смотрѣть || жалко какъ онъ бѣдняжка дрожитъ || отъ холоду и хлопаетъ руками || Толи дѣло лѣто. Ахъ Соничка || Соничка помнишь какъ намъ || весело было прошлаго года надачѣ || Когда мы (всѣ обѣг) были мамин- || кины именины и мы всѣ обѣдали || въ саду, (когда) и катались по рѣкѣ я бы съ утра до вечера || играла все въ саду. Какъ я люблю тенис[тыя] || зеленыя деревья! Какъ они (стоятъ) растутъ высоко высоко неправдали сестрица Соничка вѣдь || они достаютъ (достаютъ) до самаго || небо. (Как) Какъ все тепло тогда какъ весело || какъ хорошо ахъ когдабы скорѣѣ уже зачемъ неприходитъ такъ долго это || веселое лѣто». — Но знаете ли вы мои малень- || кія друзья что есть такая земля гдѣ || круглый годъ почти лѣто а осени и зимы || которой вы такъ нелюбите (совсѣмъ) и духу [не] слышно и въ той землѣ Апель- || синовъ лимоновъ Ананасовъ закоторые || мы платимъ такъ дорого такое мно || жество что ужъ и несобираетъ никто || Тамъ ростутъ лавры, смоковницы, фиговое || дерево (Тамъ живутъ звѣри самыя боль[шія] и самые страшные и самые лютые) || Пальмы. Какъ тамъ должно быть || весело! Какъ хорошо!

§ 1.

Несовсѣмъ весело. Тамъ живутъ || звѣри самые большіе, самые страшные, || и самые лютые. Тамъ живутъ люди || которые ничемъ не (хуже) лучше звѣрей || и еслибы показался кто нибудь || изъ насъ то они можебыть съѣли || бы какъ ѣдятъ сырое мясо онѣ неу- || мѣютъ (тѣ люди) ни шить себѣ || платья ни читать ни учиться || (и всѣ чорны) А лица у нихъ такіе || чорные какъ трубочистовъ и безобразныя какъ у обезьянъ.

§ 3 (sic).

Есть еще такія (земли) мѣста || на землѣ нашей холодъ вѣчный зима || круглый годъ итакъ скучно въ тѣхъ || мѣстахъ такъ уныло — какъ будто ничего нѣтъ || живаго тамъ ни травки ни деревца || только въ недѣли на двѣ зазелѣнѣетъ мохъ || на землѣ и послѣ опять все снѣгъ все || снѣгъ люди такіе маленькіе такіе || бѣдныя, ходятъ всѣ въ шубахъ и никогда || нескидаютъ ихъ. Только и дѣла что ло- || вятъ рыбу (и одну ее только и ѣдятъ) да оленей которые одни || только и живутъ тамъ (въ тѣхъ мѣстахъ). Снѣга тамъ такъ много [что] и пройти нельзя въ ботинкахъ или сапогахъ потому что тотчасъ || можно провалиться и бѣдные люди тамо- || шние чтобы помочь этому придѣлываютъ || (къ собагамъ своимъ) подъ сапоги себѣ маленькіе саночки, которые || называютъ *лыжами* и на которыхъ они || гоняются за звѣрями. Хотители вы знать || что это за люди? Это камчадалы Эски- || мосы, самоѣды, чучки [*sic*]. А...

Печатаемые нами отрывки извлечены из так наз. «Дашковского собрания» Гоголевских рукописей, хранящегося в Пушкинском Доме. Это — рукописи, уцелевшие от уничтожения, произведенного Гоголем незадолго до последнего предсмертного сожжения бумаг: они были изорваны в мелкие клочки. Подбор и склейка части этих клочков обнаружили черновики как крупных произведений, так и отдельных отрывков. Из них были напечатаны в 1902 г. К. Н. Михайловым черновые тексты «Пропавшей грамоты», статьи о средних веках, рецензии на альманах «Утренняя Заря» 1842 г. и несколько отрывков исторического и другого содержания («Вновь найденные рукописи Гоголя» — «Ист. Вестник» 1902 г., февраль).

Даже самое беглое сравнение того, что напечатано К. Михайловым с автографами, убеждает в крайне небрежном отношении его к тексту. Так, повидимому, систематически опускалось им все вписанное между строками — поэтому и произведенное им сличение рукописи с текстом X издания (не говоря уже о том, что не взят ни первопечатный, ни второпечатный текст) —

совершенно не показательно: за отличия новой редакции сплошь и рядом принято то, что было в первоначальной, и обратно — многие отличия первоначальной упущены.

Но помимо этого К. Михайловым напечатано далеко не всё. Среди напечатанного обращает на себя внимание начало какой-то детской книжки географического содержания в полубеллетристической форме: сохранилось три первых параграфа. Из этих трех параграфов К. Михайлов напечатал почему-то только третий — среди других различного содержания отрывков, — и, конечно, лишенный начала и не комментированный, — этот отрывок потерял всякий смысл: к тому же и напечатан он с такими же искажениями, как и другие тексты (напр., вместо «снѣга тамъ такъ много» — «снѣгъ тамъ массой»; вместо «которые одни» — «которыми одними» и. т. п.). Ниже печатаются последовательно все три параграфа этого отрывка; приводить для 3-го параграфа «варианты» К. Михайлова я считал излишним. Отрывок очевидно связан с непрерывавшимся у Гоголя в течение всей его жизни интересом к географии и, вероятно, с первыми шагами в деле ее преподавания — но вряд ли с задуманной книгой «Земля и люди»: книжка была, как видно, рассчитана на возраст младший по сравнению с возрастом учениц Патриотического Института, из записок которых «Земля и люди» должна была возникнуть, — а намереваясь «преобразить» эти записки, Гоголь замышлял нечто еще более серьезное: «всеобщую историю, если не географию, в трех, если не в двух томах», из которой можно было бы узнать и мысли его об этих науках («Письма», т. I, стр. 236). Конечно, замысел этот мог видоизменяться много раз, и еще в 1849 году Гоголь мечтает о «существенной, говорящей географии», которая могла бы врезаться, «как живая, в память даже несовершеннолетнего отрока» (Письма, т. IV, стр. 345).

Отрывки печатаются с сохранением правописания рукописи. В прямые скобки заключены восстановления, в круглые — зачеркнутое в рукописи; разрядка — означает написанное сверху; курсив подчеркнутое в рукописи; поперечные черты — конец строки; многоточия — отсутствие соответственного места рукописи.

Василий Гиппиус.

Фрагмент из «Воскресения».

(Из „стального“ архива Толстовского Музея в Москве).

— Я бы рада для васъ сдѣлать все, что могу, но, какъ видите, мы всѣ поставлены въ такое положеніе, что ничего не можемъ сдѣлать, — сказала она и улыбнулась своей свѣтлой, доброй, не имѣющей ничего женскаго, кокетливаго, улыбкой.

«Да, если бы можно было ее съ Катюшей, если бы онѣ вмѣстѣ пошли», — подумалъ Нехлюдовъ.

— А я думаю, что и вы можете сдѣлать для меня много, — сказалъ Нехлюдовъ.

Она удивленно посмотрѣла на него.

— Вы видѣли прошлый разъ женщину, съ которой я имѣлъ свиданіе, она сейчасъ придетъ. Вотъ не могли ли бы вы помочь ей?

— Чѣмъ помочь?

— Всѣмъ, главное нравственно помочь.

— Какъ, что? — сказала Маша и лицо ея выразило страстное вниманіе.

— Видите ли, эта женщина — невинно осужденная. Правда, что эта женщина низко павшая. Очень низко. — Нехлюдовъ никакъ не могъ выговорить ей то, что была Маслова. — Но она совершенно невинна въ томъ, въ чемъ ее обвиняютъ и обвинили. Вы хотите знать, что она мнѣ? — сказалъ Нехлюдовъ, краснѣя. — Я зналъ ее молодой.

Лицо Маши просіяло. Она догадалась и все поняла. Послѣ этого она только слегка кивала головой и мигала на все, что говорилъ Нехлюдовъ.

— Она совершенно невинна въ отравленіи. Мы подали кассацію и надѣемся на оправданіе, но вотъ уже 6 месяцевъ она въ острогѣ и еще просидитъ. Это только еще ниже спуститъ ее.

— Что же, если бы ее перевели къ намъ, мы бы могли сблизиться, — сказала она.

— Если бы это было возможно.

— Я очень рада была бы, только бы перевели, ей и вообще лучше бы было съ нами.

— Кромѣ того, что я знаю, что она хорошая женщина, она и теперь, въ послѣдній разъ, когда я ее видѣлъ, поразила

меня тѣмъ, что она себѣ ничего не просила, а думала, что имѣю я вѣсъ и все могу, и просила за женщину, которая съ ней содержится и которую она считаетъ невинной. Видно, что она...

Нехлюдовъ не договорилъ, потому что въ это время вошла Маслова.

— Такъ можно разсчитывать? — сказала она.

— Непремѣнно.

— А если только ее переведутъ къ намъ, то я постараюсь быть ей полезной. Здравствуйте, — сказала она, подходя къ Масловой. — Мы говорили, чтобы вамъ перевестись къ намъ, къ политическимъ, вамъ будетъ лучше.

— Отчего же, — отвѣчала Маслова, вопросительно глядя на Нехлюдова. — Коли лучше, такъ хорошо бы.

— Мы послѣ поговоримъ.

И Маша съ братомъ пошла къ Вильгельмсону и разсказала ему все, что съ Нехлюдовымъ.

Новопубликуемый фрагмент «Воскресения» воспроизводится по корректурным гранкам (№ 111—112) «Нивы», в которой роман впервые печатался в 1899 году. Он входил в сцену «свидания политических», которая в рукописи и в первых корректурах составляла главу XLIX первой части романа, и соответствует LIV гл. окончательной редакции «Воскресения» (и LV — полного бесцензурного заграничного издания).

Этот неизвестный доселе отрывок относится к переводу Масловой из уголовного отделения к «политическим», — эпизоду, по мнению самого автора, весьма значительному (ср. ч. III, гл. I). Он, действительно, не просто вычеркнут, но сопровожден пометой автора «пр[опустить]»: так обозначал Толстой те места, которые обременяли данную главу, но которые автор предполагал еще использовать в другом контексте романа.

Однако, рефлексом этого многозначительного и в высшей степени художественного диалога явились лишь несколько «повествовательных» строк в дефинитивном тексте романа, — при чем здесь роль Марьи Павловны Щетининой передана Вере Ефремовне Богодуховской: «третье дело, о котором хотела говорить Вера Ефремовна, касалось Масловой. Она знала, как все зналось в остроге, историю Масловой и отношения к ней Нехлюдова и советовала хлопотать о переводе ее к политическим или, по крайней мере, в сиделки в больницу, где теперь особенно много больных и нужны работницы. Нехлюдов поблагодарил ее за совет и сказал, что постарается воспользоваться им». Вильгельмсон, разумеется, — Симонсон окончательной редакции.

Необходимо отметить, что публикуемый фрагмент входил в группу тех именно глав, о которых Толстой писал издателю «Нивы»: «Посылаю вам с кондуктором 44 гл., кот. можно печатать, и главы с 45 по 52 включительно, которые, приказав исправить, прошу прислать еще мне. Очень сожалею, что доставляю вам столько хлопот, но не могу иначе. Это самые для меня трудные и важные места. Дальнейшее пойдет без задержки» [1]). *С. Брейтбург.*

---

1) «Из неизданных писем Л. Н. Толстого», ред. Е. Населенко; письмо от 5 мая 1899 г. («Сборник Пушкинского Дома на 1923 г.», II. 1922, стр. 308).

Глава из воспоминаний Е. М. Феоктистова.

С. В. Шумский.—А. Н. Островский.—Кружок «Молодого Москвитянина».—Аполлон Григорьев.—Семейства Баташевых и Шепелевых.—В. А. Сухово-Кобылин и его сын А. В. Сухово-Кобылин.

«Чтобы достойным образом писать историю, следует забыть о свой вере, о своем отечестве, о своей партии»,—сказал один старинный французский писатель, а другой пессимистически заметил: «Все историки обещают нам правду, и ни один не передает ее без искажения»... Мемуаристы, увы! могут быть беспристрастными еще менее, чем историки, даже при полном и искреннем желании рассказывать одну правду: так трудно, почти невозможно пишущему совершенно отрешиться от собственного «я», забыть о своей личности; автор всегда чувствуется в том, что он пишет, и если он не искажает фактов, а излагает события вполне согласно с истиной,—он невольно придает описываемым событиям и лицам, в них действующим, такую окраску, в какой они ему представляются в данный момент... И тем не менее,—писал 50 лет тому назад Ф. В. Чижов [1]), записки современников—«далеко не праздное развлечение: значение их гораздо выше и обширнее. Историческое повествование, как бы оно ни было подробно, передает и может передать только внешность всех сторон жизни; записки современников вливают в него душу и воскрешают жизнь давно былого». Часто, по меткому выражению К. Н. Бестужева-Рюмина, «в одной строке мемуаров разъясняется то, что остается неясным в целых фолиантах дипломатических нот и оффициальных бумаг»,—одного слова, одного эпитета, приданного событию или лицу описателем-современником, одного мелкого на первый взгляд эпизода—бывает иногда достаточно для обрисовки живой фигуры, живого человека. В этом—великое достоинство мемуаров; но в этом и их опасность, если неукоснительно не иметь в виду личность самого автора, его умственный и нравственный склад; необходимо дать себе точный отчет в том, кто он был,—тогда можно смело пользоваться его записями, как

1) «Русск. Арх.» 1873 г., кн. I, стр. 165.

надежным историческим документом, часто — как первоисточником.

Имея в виду все эти соображения, мы, публикуя отрывок из Воспоминаний Евгения Михайловича Феоктистова (род. 1829, ум. 1898 г.) о Тургеневе [1]), сочли необходимым предпослать этому отрывку довольно подробный очерк жизни и личности его автора [2]), — необходимый тем более, что в рассказах своих о Тургеневе и о В. П. Боткине он выказал себя настолько небеспристрастным, что несколько мест воспоминаний, особенно неприятных и несправедливых по отношению к обрисовываемым лицам, редактор Сборника признал нужным опустить при печати...

Отсылаем интересующегося читателя к указанному очерку нашему о Феоктистове, облик которого, впрочем, довольно четко вырисовывается и из печатаемого ниже второго отрывка его Воспоминаний, хранящихся в Пушкинском Доме. Прибавим здесь, однако, в дополнение к сказанному, что незаурядная личность Феоктистова еще в молодые годы обратила на себя внимание колкого Щербины, который внес его имя в свой «Сонник современной Русской литературы», составленный еще в начале 1850-х годов: «Каткова, Леонтьева, Коршей, а также и Феоктистова и всю эту ученo-литературную мелюзгу «Русского Вестника» [во сне видеть]», — желчно писал Щербина в длиннейшей тираде, — «предвещает щеголять перед невеждами прививным умом из разных Германских брошюр и фолиантов, не знать России, смотреть на нее из Гёттингенского окошка или из предместия св. Антония, вопить о своей добросовестности и о какой то глубине мыслей с примесью гордого Байронического презрения ко всему, что не подходит под наш узкий взгляд», и т. д. и т. д. [3]). Лет десять спустя, тот же Щербина написал на него (21 января 1865 г.) уже самостоятельную эпиграмму, в которой отметил неустойчивость убеждений Феоктистова по поводу участия его в Комиссии, занимавшейся реформою законодательства о печати: [4])

Не сердись, пришлося к слову,
И тебя я упрекну:
При сочувствии к Каткову
Служишь ты Головнину,
Для такого ж человечка
Казнь народная строга,—
Говорят: «он богу свечка,
Да и чорту кочерга»...

1) Тургеневский Сборник. Под редакцией А. Ф. Кони, Пб. 1921, стр. 155—195.
2) Назв. соч., стр. 155—160.
3) См. «Русск. Арх.» 1904 г., кн. III, стр. 377—378.
4) «Русск. Стар.» 1907 г., № 8, стр. 265.

Приведем, наконец, еще одну эпиграмму на Феоктистова, относящуюся уже к 1883 году, когда он был назначен Начальником Главного Управления по делам печати, и принадлежащую перу неизвестного автора:

Островский Феоктистову
На то рога и дал,
Чтоб ими он неистово
Писателей бодал,—

при чем соль эпиграммы заключалась в намеке на близкие отношения, будто бы существовавшие между женою Феоктистова и Министром государственных имуществ М. Н. Островским, который содействовал назначению Феоктистова на этот важный пост [1]). Впрочем, последнее обстоятельство едва ли не злостная сплетня; что же касается Феоктистова, то за 13 слишком лет его управления цензурным ведомством Русская литература вовсе уж не так сильно страдала от цензурных гонений, как при его преемниках: Феоктистов был человек очень образованный и просвещенный и не отличался изуверством.

Возвращаясь к самым Воспоминаниям Феоктистова, повторим здесь то, что мы сказали о них раньше, в «Тургеневском Сборнике», — а именно, что они представляют несомненный интерес и историко-литературную и историко-бытовую ценность и значение, хотя, скажем вновь, к ним и следует подходить с известною долею осторожности и критики: в той или иной степени они носят на себе отпечаток личности автора и, отдаленные большим пространством времени от эпохи, которую описывают и о которой повествуют, отражают ту перемену, — если не взглядов, то настроений, — какую пережил Феоктистов, как и каждый мыслящий человек, испытывающий много разочарований на пространстве прохождения жизненного пути. На Воспоминаниях Феоктистова (они писаны в 1887 году, когда автору их было около 60 лет) такая перемена сказалась, к сожалению, слишком заметно и — не в пользу автора: впечатления, полученные им в молодые годы, согретые молодыми восприятиями и надеждами, преломились сквозь призму долгой и довольно сложной жизненной и служебной карьеры, которую ему пришлось проделать, — и в результате местами получилось некоторое, столь свойственное преклонным летам недовольство настоящим и прошедшим, осуждение того, что прежде казалось таким симпатичным, близким, дорогим: картина, через дымку скептицизма и житейского опыта, стала являться умственному взору автора иною, вызывать в нем не только сомнение, но и прямое осуждение...

1) «Голос Минувшего» 1919 г., № 1—4, стр. 60.

Однако, со стороны содержания, печатаемая нами ныне глава Воспоминаний Феоктистова представляет большой интерес и значение, передавая много любопытных фактов и черт из жизни целого ряда крупных людей, с которыми автор был долго и близко знаком. Литературы и театра касаются его рассказы об Островском и его знакомцах и друзьях, об авторе «Свадьбы Кречинского» — Сухово-Кобылине и об артисте Шумском; значительный бытовой интерес являют очерки оригинальных семейств богачей Баташевых, Шепелевых и Сухово-Кобылиных; попутно упоминается целая галлерея деятелей второстепенных. Изложение повествования — вполне литературное, автор их обладал определенным талантом писателя и знал, что̀ и ка̀к рассказывать.

Б. Модзалевский.

В самом начале пятидесятых годов случилось мне однажды быть в Московском Малом театре. Шла какая-то переводная с французского пьеса. Афиша гласила, что главную роль будет исполнять Шумский [1]) — артист совершенно неизвестный; по крайней мере мне, хорошо знавшему всю труппу, никогда не приходилось о нем слышать. Уже это заставляло относиться к нему недоверчиво, а когда появился он на сцене, то первое впечатление было не в его пользу. Хотя держался он очень свободно, но обладал далеко не звучным голосом и сильно шепелявил. По мере того, однако, как развивалось действие, он заставил забыть все свои недостатки и, по окончании пьесы, публика была в полном восхищении. Все поняли, что видят пред собой первоклассного артиста.

Через несколько времени после этого не редко встречался я с Шумским у И. С. Тургенева, который предоставил ему главную роль в своей пьесе «Провинциалка» [2]). Здесь завязалось наше знакомство, перешедшее очень скоро в тесную дружбу.

Шумский, родившийся от очень бедных родителей, получил воспитание в Московской театральной школе. По рассказам его, почти тотчас по вступлении в это училище развилась в нем не-

1) Сергей Васильевич Шумский (по рождению — Чесноков), сын мещанина, родился в 1820 г. в Москве; учился в Театральном Училище под руководством Щепкина, окончил курс в 1843 г., с 1845 г. играл в Одессе, в 1851 г., вернулся в Москву и с успехом выступил в водевиле «Ветренники или все против мужа»; с неизменным успехом играл до смерти своей в 1878 г., особенно в пьесах Островского, Писемского и др. Шумского очень ценил и высоко ставил Ап. Григорьев.

2) Комедия в 1 действии, напечатана в «Отеч. Зап.» 1851 г., кн. 1; отд. изд. 1860, С-Пб.; поставлена на сцене в Москве.

преодолимая страсть к театру; вместе с тем рано обнаружились в нем и другие артистические наклонности, между прочим любовь к музыке, в которой не удалось ему, однако, — не по его вине — достигнуть больших результатов. Нашелся какой-то добряк, музыкальный учитель, который заинтересовался способностями мальчика, и Шумский ходил к нему в свободные часы учиться. Как-то вдруг, пред самым началом спектакля в Малом театре, понадобилось заменить в пьесе заболевшего воспитанника театральной школы другим; потребовали Шумского, а он, не испросив разрешения начальства, отлучился на урок музыки; следствием этого была такая жесточайшая порка, что он всегда вспоминал о ней с ужасом; разумеется, музыкальные занятия прекратились; впрочем, и после этого Шумский почти самоучкой предавался им и играл довольно порядочно на фортепиано.

Вскоре по выходе своем из школы отправился он в Одессу. Объяснял он мне это тем, что на Московской сцене было бы ему трудно сразу проложить себе дорогу, что, быть может, в течение некоторого времени пришлось бы ему довольствоваться второстепенными ролями, а он стремился к гораздо более видному положению. Материальные рассчеты отодвигались при этом на второй план; главным образом имел он в виду работать над самим собой, развить те способности, которые ясно сознавал в себе. И действительно, по словам его, пребывание на юге было для него временем неустанного, упорного, утомительного труда, который увенчался блестящим успехом. По возвращении своем в Москву он нашел ревностного покровителя в М. С. Щепкине, который даже приютил его у себя дома, — впрочем не помню, в это ли время или еще прежде, по выходе из Театрального Училища. Известно, с каким искренним участием относился Щепкин ко всякому таланту; эта была вполне доброжелательная натура, и влияние его на всю труппу было в высшей степени благотворно. Иначе не могло и быть: умом он неизмеримо превосходил своих товарищей; беседовать с ним было истинное наслаждение во-первых потому, что воззрения его на искусство, которому он посвятил свою жизнь, отличались замечательной глубиной и оригинальностью, а во-вторых у него был неистощимый запас рассказов о всем, что приходилось ему видеть и испытать на своем веку, и каждый из них умел он облечь в художественную форму, так что эти рассказы навсегда запечатлевались в памяти!

Блестящее то было время нашего театра! Едва ли когда-нибудь все образованное общество относилось к нему с таким глубоким и осмысленным интересом. Между тем репертуар — оригинальный, а не переводный — был крайне скуден; помимо великих произведений Грибоедова и Гоголя, не находилось в нем почти ничего, что возвышалось бы над уровнем посредственности, и это до тех пор, пока не выступил на сцену Островский

с комедией «Банкрут», переименованною потом в «Свои люди сочтемся» [1]).

Я познакомился с ним вскоре после того, как его имя прогремело в литературе. Нельзя сказать, что бы в то время производил он приятное впечатление. Обаяние его таланта было так сильно, что всякий, еще не видав его, готов был отнестись к нему весьма симпатично, но многие порядочные люди тотчас же разочаровывались в нем. Прежде всего [неприятно] отталкивала среда, в которой он вращался и которая составляла излюбленное его общество. Я понимаю, что среда эта была для него необходима, ибо она представляла обилие типов, которыми он пользовался для своих произведений; если бы чуждался он этого «темного царства», то не находил бы пищи для своей наблюдательности, никогда не удалось бы ему изобразить с такою поразительною верностью этот своеобразный мир, столь мало известный образованным слоям общества. Но для Островского этот мир имел сам по себе обаятельную прелесть, Островский находился там совершенно в своем элементе. Почти ежедневно можно было его видеть в известной кофейной Печкина [2]) и кроме того каждую неделю собирал он у себя толпу своих приятелей. Тут были и провинциальные актеры, и купцы, и мелкие чиновники с распухшими физиономиями,—и весь этот сброд, купно с литераторами, предавался колоссальному, чудовищному пьянству.

Биография любого из ближайших друзей Островского — Аполлона Григорьева [3]), Рамазанова [4]), Алмазова [5]), Эдельсона [6]), Немчинова [7]), Шаповалова [8]) весьма однообразна; каждый из них,

1) Обрабатывалась в 1846—1850 гг., напечатана в 1850 г., на сцене поставлена лишь в 1863 г.

2) Известный еще с 1830-х годов «Железный трактир» или кофейная Печкина в Москве упоминается во многих литературных воспоминаниях; см., напр., «Русск. Стар.» 1880 г., № 10, стр. 314; 1884 г., № 10, стр. 55, 59; 1887 г., № 2, стр. 279 и № 9, стр. 651; 1905 г., № 1, стр. 123; о нем же специальная статья А. Д. Галахова: «Литературная кофейня в Москве тридцатых и сороковых годов» — «Русск. Стар.» 1886 г., № 4, стр. 181—198 и № 6, стр. 691—724; выведен он и в романе В. А. Вонлярлярского «Магистр», и в романе Писемского «Масоны».

3) Знаменитый критик.

4) Скульптор, историк искусства Николай Александрович Рамазанов (род. 1817 г., ум. 1867), преподаватель, а затем профессор Московского Училища живописи и ваяния; одно письмо к нему Островского опубликовано нами в Сборнике памяти Островского, изд. Пушкинского Дома, стр. 215; в 1850 г. Рамазанов вылепил бюст Островского и подарил его писателю (там же, стр. 315).

5) Известный поэт-сатирик, член «молодой редакции» «Москвитянина» Борис Николаевич Алмазов (род. 1827, ум. 1876).

6) Евгений Николаевич Эдельсон (род. 1824 г., ум. 1868) — критик, сотрудник «Москвитянина» и др. журналов.

7) Актер Московского театра, умерший 8 октября 1861 г.

8) Николай Ираклиевич Шаповалов (ум. 1872 г., на 43 г.), член «молодой редакции» «Москвитянина».

еще в сравнительно молодые годы, сходил в могилу от одного и того же недуга — от delirium tremens. Пьянство соединяло всех, пьянством щеголяли и гордились. Неоднократно посещал я вечерние собрания А. Н. Островского; конечно встречались там люди веселые и не лишенные юмора, хотя и доволно грязного; одно из видных мест между нами занимал музыкант Дюбюк [1]), выпивший на своем веку столько вина, что в этом отношении все охотно признавали его превосходство над собой. Между прочим рассказывал он, что как-то в Воспитательном доме умер учитель музыки, и начальница г-жа Цеймарн [2]) была очень озабочена приисканием ему приемника. Кто-то указал ей на Дюбюка. Она пригласила его к себе и сразу порешила с ним дело, но на другой же день пришла в ужас.

«Помилуйте», говорили ей, «ведь Дюбюк пьяница, самый безобразный человек, он будет являться на уроки в таком виде, что вы не избегните скандалов». Снова посылает г-жа Цеймарн за Дюбюком и сильно сконфуженная объясняет ему, что по разным причинам изменила свое намерение.

«Понимаю, сударыня, отвечал Дюбюк, вероятно кто-нибудь сказал вам, что я пью».

«Действительно, ходят слухи, будто вы страдаете этим недугом».

«Это правда, но если для занятия места в вашем заведении требуются прежде всего воздержание и трезвость, то я могу указать вам на человека, который не только не пьет, но даже ничего не ест: это митрополит Филарет [3]); к сожалению он музыки не знает».

Можете себе представить физиономию г-жи Цеймарн!

Дюбюк выдавался своим талантом; то же следует сказать о Григорьеве, Эдельсоне, Алмазове, — людях образованных и обладавших не дюжинными способностями; несчастие их состояло в том, что они прожгли свою жизнь, затопили ее в вине; уцелел и вышел впоследствии на другой путь Тертий Филиппов [4]) — личность в высшей степени отвратительная, святоша, ханжа, что не мешало ему быть карьеристом; человек, который способен был

1) Александр Иванович Дюбюк (род. 1812, ум. 1897 г.), учитель и профессор на фортепиано и композитор, ученик Дж. Фильда, о котором и оставил воспоминания, напечатанные в «Книжках Недели» за 1892 г., № 12, стр. 7—20.

2) Гликерия Алексеевна фон-Цеймерн (род. 1785, ум. 1853 г.), рожд. Сверчкова, была начальницею Сиротского Института при Московском Воспитательном Доме.

3) Про Филарета Дроздова, отличавшегося строгостью, говорили, что он съедает в день лишь одну просфору и одного священника...

4) Тертий Иванович Филиппов (род. 1825, ум. 1899 г.), впоследствии Государственный Контролер, сенатор, писатель; носил почетное звание «епитропа Гроба Господня».

проникнуться неистовою злобой и преследовать самыми возмутительными клеветами всякого, кто умышленно или даже без умысла затрагивал его непомерное самомнение и тщеславие. Таковы были корифеи; всё остальное, как сказано выше, — ничтожество в полном смысле слова. И те, и другие безбожно льстили Островскому, расточали ему грубую лесть, а это, при его самолюбии, действовало на него очень дурно. Не мало повредило это и его таланту.

Он не довольствовался тем, что написал комедию, отличавшуюся яркими достоинствами, совершенно справедливо снискавшую ему почетную известность. Его уверяли (и сам он верил этому), что с именем его связан коренной поворот в литературе. Ревностным проповедником этого явился Аполлон Григорьев [1]). Вот тоже оригинальная фигура! Это был бесспорно человек умный, много читавший, талантливый, но с беспутною головой и еще с более диким и беспутным характером. Пьянствовал он неистово и споил жену свою, сестру Валентина Корша [2]), о котором я уже имел случай говорить выше; эта несчастная женщина погибла ужасною смертью — она сгорела, заснув в пьяном виде с зажженной папиросой, от которой вспыхнул пожар в ее комнате. Супруг ее вечно находился в необузданном экстазе; если овладевало им какое-либо направление, то в увлечении своем он как бы терял рассудок. То являлся он отчаянным демократом и революционером, с пафосом восклицая:

И будь сам бог аристократ,
Ему б я гордо пел проклятья,
Но на кресте распятый бог
Был сын толпы и демагог...

То вдруг с не меньшим ожесточением набрасывался на постное масло, служил молебны и посещал церкви. Как только Тертия Филиппова обуяла набожность, Григорьев, находившийся тогда в другом настроении, тотчас же порвал с ним всякие сношения и даже перестал ему кланяться. Прошло уже не помню сколько времени, как встретились они однажды на улице. Григорьев чуть не бросился ему на шею.

«Ну объясни пожалуйста, Аполлон», сказал ему Филиппов, «зачем ты все это выкидываешь, — то отворачиваешься от меня, а то раскрываешь мне объятия?».

---

1) Об Аполлоне Александровиче Григорьеве см., между прочим, в издании Пушкинского Дома: «А. А. Григорьев. Материалы для биографии. Под редакцией Влад. Княжнина», СПб. 1917 г. и брошюру «Аполлон Григорьев. Биография и путеводитель по выставке в залах Пушкинского Дома. Составили М. Д. Беляев и В. С. Спиридонов», СПб. 1922.

2) Лидия Федоровна Григорьева, сестра Валентина Федоровича Корша (род. 1828 г., ум. 1883 г.), известного журналиста и писателя, редактора «Московских», а потом «С.-Петербургских Ведомостей» и др. изданий; брак был несчастлив и супруги недолго жили вместе.

«Ах, любезный друг», воскликнул тот, «ведь стыдно и вспомнить, чем я был до сих пор, но во мне совершился спасительный переворот; поверишь ли, что теперь я даже самые дикие крайности Аскоченского [1]) разделяю» (Аскоченский служил тогда синонимом [церковного] изуверства). Как скоро Григорьев примкнул к кружку Островского, то под влиянием восторга от его комедии тотчас же закусил удила [2]): Островский — один из тех гениев, которые родятся веками, Островский выше Шекспира, Островскому суждено сказать «новое слово» — вот что проповедывал он и что вместе с ним повторяли на все лады его приятели. «Новое слово», яко бы сказанное Островским, не сходило у них с языка. Что же подразумевали они под ним? По словам их, никого в такой степени, как Островского, нельзя было считать представителем правды и искренности в искусстве, представителем чисто-народного направления в литературе, никто так верно не изображал [действительность] русскую жизнь, чуждаясь всякого рода тенденций. Но народными писателями не грешно было бы, кажется, считать и Пушкина, и Гоголя; если бы даже допустить, что по сравнению с ними Островский сделал шаг вперед, то это еще не давало права толковать об его мировом значении. Кружок людей, о котором я говорю, составил себе о народности довольно своеобразное понятие. Я уже упомянул выше, что «темное царство» отнюдь не претило Островскому и его друзьям; славянофилы, например, не скрывали своего нерасположения к высшим классам общества, которые будто бы были совершенно оторваны реформой Петра Великого от коренных начал русской жизни; славянофилы видели спасение России главным образом в народе, оставшемся верным вековым преданиям, но это не мешало им скорбеть о невежестве, в котором он погрязал, об его пороках и грубости его нравов. Поборники «нового слова» шли гораздо далее. Для них русская жизнь даже со всею своею грязью представляла нечто обольстительное. Островский — изволите ли видеть — доказал, «как глубока, широка и размашиста душа русского человека, который велик *даже во всех своих пороках*». Это было возвещено печатно (см. статью Алма-

1) Виктор Ипатьевич Аскоченский, известный мракобес, издатель журнала «Домашняя Беседа»; его любопытный портрет в 1922 г. поступил в Пушкинский Дом.

2) Особенно известна (неоконченная) статья А. Григорьева «О комедиях Островского и их значении в литературе и на сцене» (в № 3 «Москвитянина» 1855 г.); см. ее в издании «Полного собрания сочинений и писем А. Григорьева», под редакцией В. С. Спиридонова, т. I, С.-Пб. 1918, стр. 204 — 225 и объяснения к ней, стр. 334 — 344; запрещенное цензурою продолжение статьи опубликовано В. С. Спиридоновым же в «Ежегоднике Петроградских Театров», 1922 г., стр. 157 — 195, со статьей «Островский в оценке Григорьева,»; ср. в цитированной книжке Пушкинского Дома о Григорьеве, изд. 1922 г., стр. 16—17 и 39—40.

зова в «Москвитянине», а то ли еще приходилось слышать на вечерних беседах у Островского. «О западниках и говорить нечего, — мы их презираем, но и от славянофилов отделяет нас резкая черта; славянофилам хотелось бы почистить и приукрасить народ, а мы берем его, как он есть; для нас и жулик получше любого заморского чухонца», — вопил Аполлон Григорьев. Нельзя было не возмущаться наглостью и цинизмом, с какими проповедывались подобные бредни; это было и гадко, и комично. В Москву приехала знаменитая Рашель [1]) и производила потрясающее впечатление своим талантом; и до сих пор, в старческие годы, вспоминая о ней, я нахожу, что ничего поразительнее не случалось мне видеть на сцене; для меня отнюдь не казались странными слова, сказанные однажды М. С. Щепкиным, что если бы встретил он человека, который остался бы совершенно равнодушен к Рашель, то не мог бы уважать его. Но такие люди нашлись в кружке Островского. Однажды Рашель играла лучшую из своих ролей — роль Федры; публика затаила дыхание, прислушиваясь к ее страстным монологам; вдруг раздался хриплый хохот. Это хохотал сидевший в креслах Шаповалов [1]), несчастный малый, допившийся до видений, до того состояния, когда человек беспрерывно отмахивается от мнимых жуков. По окончании акта его поспешили вывести, и на вопросы, чем вызвана была в нем столь неуместная веселость, он отвечал, что разве можно удержаться от смеха, видя, с каким старанием разыгрывает актриса ходульные и лишенные всякой правды пьесы какого-то Расина. Ему хотелось бы, вероятно, чтобы Рашель попробовала свои силы в роли Липочки в комедии «Свои люди сочтемся».

После сказанного мною трудно объяснить то странное, по-видимому, обстоятельство, что хотя все признавали огромный талант Островского, но многие относились к нему недоброжелательно. Особенно обнаруживалось это со стороны людей, которых называли тогда западниками. С своей точки зрения они были правы: время было тяжелое, умственная деятельность

---

1) О пребывании Рашели в Москве (в 1853 — 1854 гг.) см., между прочим, в «Московских воспоминаниях» Н. В. Берга — «Русск. Стар.» 1884 г., № 10, стр. 69 — 71; там-же и об отношениях Щепкина к Рашели и о их беседах через переводчика; в Парижском Пушкинском музее А. Ф. Онегина, принадлежащем Пушкинскому Дому, находится калиграфически исполненный список «Скупого Рыцаря», в переплете и с иллюстрациями, подаренный Щепкиным Рашели в бытность ее в Москве, с надписью: «Госпоже Рашель, великой художнице драматического искусства. Москва $\frac{\text{Февр. 19}}{\text{Марта 3}}$ 1854 г.» (см. Б. Л. Модзалевский, Описание рукописей Пушкина, находящихся в музее А. Ф. Онегина в Париже»—«Пушк. и его соврем.», вып. XII, стр. 47.

2) См. выше.

подвергалась преследованию, а между тем люди, не имевшие никакого значения сами по себе, обращавшие на себя внимание только потому, что сплотились вокруг отличного писателя, которого одурманили выспренними похвалами, не задумывались кричать повсюду, что благороднейшие стремления общества не более, как вздор, и приглашали его заняться созерцанием прелестей русского человека, утопавшего в пьянстве и разгуле. Противники Островского старались насолить ему. Кетчер[1]) с иступлением покровительствовал некоему Гореву, который утверждал, будто комедия «Свои люди сочтемся» написана при непосредственном его участии, будто он имеет право считать себя его автором в такой же мере, как и Островский[2]). Чтобы представить доказательства своего таланта, Горев читал свою собственную комедию, которая потом была напечатана в «Отечественных Записках»[3]); я присутствовал при этом чтении у графини Салиас[4]); сравнивать Горева с Островским было бы просто смешно; пристрастие, однако, было так сильно, что не только Кетчер приходил от него в восторг, но даже П. Н. Кудрявцев[5]) и А. Д. Галахов[6]) ставили его на ряду с автором «Своих людей»!

Впоследствии брат драматурга М. Н. Островский[7]) рассказывал

---

1) Николай Христофорович Кетчер (род. 1807, ум. 1886), приятель Белинского и других «людей сороковых годов», врач, известный своими переводами из Шекспира. Б. Н. Алмазов в своем «Литературном Маскараде» писал про него, заставлял его рекомендоваться публике.

Друзья, я всесторонний гений:
И литератор я, и врач,
И всех Шекспировских творений
Я вдохновеннейший толмач;
Но про меня в забаву мира
Сказал какой-то шелкопер,
Что будто я «всего Шекспира
Не перевел, а перепер».

Эту эпиграмму на Кетчера приписывали Тургеневу. Характеристику «дикаря» Кетчера см. в Воспоминаниях Феоктистова о Тургеневе, опубликованных нами в «Тургеневском Сборнике» Тургеневского Общества, Пб. 1921, стр. 163, 165.

2) Об этом см. обстоятельную статью М. Д. Беляева в сборнике «Памяти А. Н. Островского», изданном Петроградским Обществом имени А. Н. Островского, Пгр. 1923, стр. 70—88: «Газетная травля».

3) Комедия «Сплошь да рядом» — «Отеч. Зап.» 1856 г., № 7.

4) Об этом чтении рассказано, со слов графа Е. А. Салиаса (сына графини Е. В. Салиас — Евгении Тур), в статье А. А. Измайлова в ж. «Театр и Искусство» 1907 г. На чтении присутствовали Грановский, Кудрявцев, Кетчер, Ешевский, Корш и др.

5) Профессор Московского Университета Петр Николаевич Кудрявцев (род. 1816, ум. 1858), историк, критик, автор повестей.

6) Алексей Дмитриевич Галахов (род. 1807, ум. 1892) — историк литературы и критик.

7) См. о нем в Сборнике в честь Островского, изд. Пушкинского Дома.

мне, что отрицать всякое участие Горева в этой пьесе было бы не совсем справедливо; Горев постоянно вращался в купеческом мире, отлично знал его, у него был неистощимый запас анекдотов о разных Титах Титычах; в этом отношении он был очень полезен Александру Николаевичу, который советовался с ним даже о сюжете и разных подробностях пьесы; но чтобы создать ее требовался прежде всего талант, а талантом то Горев и не обладал.

В пятидесятых годах «Москвитянин» дошел до крайнего упадка, и чтобы поддержать его М. П. Погодин, истый кулак, задумал привлеч к себе кружок Островского. «Явился» — рассказывал потом А. Григорьев в журнале «Эпоха» — «молодой «Москвитянин», смелый, пьяный, но честный (?) и блестящий дарованиями» (?)[1]). Предоставляю историкам литературы решить, что именно было этим кружком сделано. Думаю, что ровно ничего. Много шума и задора, а в результате мыльный пузырь[2]).

Все это относится к первым годам деятельности А. Н. Островского. С течением времени произошла в нем благоприятная перемена. Пьяные его друзья сошли в могилу, о прежнем разгуле не было и речи; но разгул оставил на нем неизгладимые следы; надо было обладать большим искусством, чтобы сломить эту атлетическую [исполинскую], натуру, а между тем организм его был сильно потрясен, — и еще задолго до своей кончины влачил он жалкое существование. Александр Николаевич был по преимуществу художник, неспособный увлекаться теориями и тенденциями; вот почему он очень скоро не только освободился от бредней, навязанных ему А. Григорьевым, Т. Филипповым и т. п., но чувствовал себя как нельзя лучше, очутившись в совершенно противном лагере. Если бы статья Добролюбова о «темном царстве» появилась в печати пятидесятых годов, то сильно поколебала бы его, но позднее он приходил от нее в восторг. Многие несимпатичные черты его характера сохранились в нем: попрежнему неприятно действовало крайнее самомнение, заставлявшее его прибегать даже к хвастовству, попрежнему упивался он фимиамом, расточаемым ему близкими людьми; но вообще ум сильный и самостоятельный, хотя и чуждый культуры, спасал его. Он старался много читать, беседа с ним о драматической литературе и театре была в высшей степени поучительна. К сожалению сочинительство перешло у него на последок в какое-то ремесло; каждый год плодил он по обширной пьесе и о некоторых из них, например, о пресловутом «Красавце-мужчине», можно было только пожалеть, что он появился в свет. Что было бы, если бы Островский, вместо множества комедий и драм, оставил по себе не более

1) «Эпоха» 1864 г., № 9, стр. 45. *Б. М.*

2) О Молодой редакции «Москвитянина» см. статью С. А. Венгерова в «Вестника Европы» 1896 г., № 2.

пяти или шести, отделывая их так же внимательно, относясь к ним так же строго, как к первому крупному своему произведению «Свои люди сочтемся»! То были бы действительно перлы нашей литературы... В оправдание Александра Николаевича я должен указать еще на одно обстоятельство, служащее к его чести: он не имел вовсе состояния, за исключением маленькой деревеньки в Костромской губернии в совместном владении с братом; нигде он не служил и вынужден был содержать семью только литературным трудом. По неволе приходилось ему прибегать к непосильному писательству. Конечно брат его Михаил Николаевич, занимавший видные должности в администрации и сделавшийся потом министром, счел бы не только долгом, но даже истинным для себя наслаждением придти к нему на помощь; многолетняя тесная дружба связывала меня с этим человеком, выше которого я не знал никого по нравственным достоинствам, чистоте помыслов и добросовестному исполнению долга. Так сердечно относился он ко всякой нужде, что любимый его брат никогда не встретил бы у него отказа; но он сам мне рассказывал, что Александр Николаевич пользовался его услугами в весьма редких случаях, как, например, для содержания своих детей в учебных заведениях, да и то надо было навязывать ему эту помощь почти насильно: он всегда указывал, что другие их родственники, особенно племянницы, находятся в еще более стесненном положении.

С отличавшею его в прежнее время нетерпимостью А. Н. Островский не мог быть беспристрастен в оценке артистов. Он восторгался только теми из них, которые являлись на сцене верными истолкователями создаваемых им типов. С этой точки зрения Садовский[1]) был для него все; впоследствии — и совершенно основательно — ставил он на ряду с ним Мартынова[2]) и Сергея Васильева (Московского)[3]). То были действительно громадные таланты. Но никак нельзя оправдывать недоброжелательство, с каким относился он, например, к Щепкину; для этого превосходного артиста почти вовсе не находилось ролей в его репертуаре, — роль купца Большова в комедии «Свои люди сочтемся» предоставил он ему лишь по необходимости и долго колебался между ним и Петром Степановым[4]): он не признавал в нем непосредственного таланта. Понятно, что еще несравненно строже

1) Пров Михайлович Садовский (род. 1818, ум. 1872), знаменитый артист Московского Малого театра.

2) Александр Евстафьевич Мартынов (род. 1816, ум. 1860), знаменитый Петроградский артист-комик.

3) Сергей Васильевич Васильев (род. 1827, ум. 1862), актер Московского Малого театра.

4) Петр Григорьевич Степанов (род. 1800, ум. 1869), второстепенный Московский актер.

относился он к Шумскому. Впрочем и от многих других приходилось мне слышать такое мнение, что это был по преимуществу артист умный, достигший блестящих успехов не столько дарованиями, сколько умом. Суждения такого рода всегда казались мне не совсем основательными, ибо, зная очень близко Шумского и при всем моем к нему расположении, я никогда не причислял его к разряду людей умных. Не говоря уже о других сферах, недоступных ему по недостатку развития и образования, он даже и в области драматического искусства отличался странною путаницею понятий. Судил о своих ролях гораздо хуже, чем разыгрывал их, и когда полагался на свои суждения, то ничего у него не выходило. Приведу пример: захотелось ему выступить в роли Чацкого и долго трудился он над ее изучением. «Наконец-то уяснилось мне», говорил он однажды, «что такое Чацкий; никто до сих пор не понимал его, потому что упускали из виду главный, жизненный интерес, руководивший им».

«Какой же именно?»

«Чацкого изображали на сцене блестящим резонером, пылким обличителем закорузлых понятий и нравов общества; от того он и казался всегда ходульным лицом; от артиста требовалось только, чтобы он искусно произносил известные монологи. Но Чацкий прежде всего человек страстно влюбленный; все его помыслы сосредоточены на Софье; в жизни нет для него ничего выше, как внушить ей взаимность; если бы обращено было на это внимание, если бы Чацкий-обличитель был отодвинут на задний план, а на первом выступил Чацкий, глубоко страдающий от любви, то он получил бы вполне определенную физиономию, и я постараюсь это сделать».

Шумский так задался этою мыслью, что не хотел слушать никаких возражений. В роли Чацкаго он не имел успеха. Некоторые промахи его объясняются так же и тем, что вообще он питал непреодолимую [страсть] склонность к сильным патетическим ролям, которые вовсе не были в его средствах. «Чувствительность и огонь, говорит С. Т. Аксаков, «составляют основные, необходимые стихии таланта драматического»: к сожалению, именно этими свойствами и не отличался Шумский; он не мог ни растрогать зрителя, ни возбудить в нем содрогания, а между тем, как бы ему этого хотелось! Излюбленными его пьесами были те, в которых представлялась ему возможность испробовать хотя отчасти свои силы на столь недосягаемом ему поприще. Однажды дюжинный писатель Тарновский [1]) перевел с французского какую-то небольшую пьесу (не помню названия) и в утеху Шумскому, исполняв-

1) Константин Августинович Тарновский (род. 1826, ум. 1892), помощник инспектора репертуарной части и секретарь при Директоре Московских театров (1854—1858), весьма плодовитый водевилист и драматург.

шему роль рабочего, вклеил в нее монолог из возбудившей в конце сороковых годов много шума драмы Феликса Пиа «Chifonnier» [1]). Надо было видеть, в каком восторге был Шумский,— он всячески старался произнести монолог эффектнее, но в каждом слове слышалось искусственное напряжение. Я не видал его в роли Ивана Грозного (графа Алексея Толстого), но не думаю, чтобы он мог удовлетворительно справиться с нею. Вообще мы, его друзья, нередко трунили над ним, что когда он усиленно приглашал нас на какой-нибудь спектакль, то можно было знать заранее, что не доставит большого удовольствия; если же отзывался пренебрежительно о той или другой из своих ролей, то приводил в восторг публику. Впрочем, неудачи были лишь редкими исключениями в его артистической карьере. По свойству своего таланта он был создан для так называемой haute comédie: тут игра его отличалась редким изяществом и смыслом, и какое при этом разнообразие! Что бы ни говорили строгие его судьи, одним умом нельзя было достигнуть такого совершенства, или уж ум этот был [совершенно] особого свойства. Конечно, Шумский не мог сравниться, например, с Садовским, который, только что ознакомившись с ролью, тотчас создавал ее; Садовский получил комедию «Свадьба Кречинского» [2]) лишь за два дня до того, как должен был читать ее у автора в небольшом кружке, и читал роль Расплюева почти совсем так, как исполнял ее потом на сцене .О Мартынове рассказывали анекдоты, еще более поразительные в этом отношении. Шумскому, напротив, было необходимо усиленно работать над каждою ролью. Застать его дома можно было утром после репетиции или вечером, когда он не участвовал в спектакле и всегда сидел с тетрадью в руках.

По временам, хотя редко, принимал он участие в публичных чтениях, для чего опять нуждался в продолжительной подготовке. Известно, что бывают разные манеры читать: уверяют, что самым блестящим представителем одной из них был Диккенс, который превращался при этом в актера и, читая разговор двух или трех лиц, изменял для каждого из них голос, жесты, чуть ли даже не физиономию, так что публика как бы присутствовала при сценическом представлении. Нечто подобное этому было и у Шумского. Только этим он и мог производить эффект, ибо, как замечено выше, произношение его не безупречно и не было у него юмора, который заставлял разражаться смехом, когда, например, Садовский без малейших вычур и совершенно серьезно, даже несколько мрачно, читал какую-нибудь комедию. Вот это был действительно

1) Félix Pyat (род. 1810, ум. 1889)—известный драматург и политический деятель; его драма «Chifonnier de Paris» (1847), написанная с политическим заданием, имела огромный успех.

2) А. В. Сухово-Кобылина.

великолепный чтец, но пальму первенства я отдаю все-таки А. Н. Островскому; по моему мнению никто, — ни Садовский, ни Щепкин, — не умел выставить так рельефно и с такой поразительной простотой разнообразные типы его произведений. Впрочем, он ограничивался только собственными произведениями; никогда не случалось мне слышать от него чего-либо другого.

Шумский сторонился вообще от своих товарищей по сцене. Они чуждались его, да и он не льнул к ним. С их стороны объясняется это тем, что, по установившемуся в театральном мире мнению, он будто отличался крайне неприятным характером и даже интригантством. Не знаю, в какой мере это справедливо, но в нашем кружке, — кружке нескольких его приятелей, не имевших с театром никаких связей, — он являлся человеком очень добродушным и симпатичным, хотя привычка толковать вкривь и вкось о чем угодно доводила его иногда до раздражительных и нелепых выходок. Была у него дочь, очень милая девушка, в которой он вдруг заподозрил талант и решился сделать из нее актрису. Для дебюта избрана была известная пьеса Островского «Бедная невеста»: Шумский на время забыл все в мире для того, чтобы подготовить дочь к исполнению главной роли; он работал с нею по целым дням, ему непременно хотелось, чтобы она сразу заняла видное положение на сцене, затмила бы своих соперниц, и благодаря его неимоверным стараниям она имела некоторый успех, — однако не надолго: нельзя было каждый раз и для каждой роли учить ее, как учат скворцов. В это время действительно Шумский напоминал Льва Гурыча Синичкина[1]), и быть может не без основания упрекали его в происках; но в театре обойтись без них трудно, и извинением для него служило родительское чувство. Неприязнь к Шумскому обусловливалась и другими причинами: в его привычках и наклонностях было мало общего с окружавшею его средой; он не любил кутежей, старался пополнить недостаток своих сведений чтением газет и журналов, усвоил себе внешний лоск и манеры, так что в любом обществе держал себя безупречно. Получал он очень хорошее содержание, которое не упускал случая пополнять в летнее время игрой на провинциальных театрах, тратил много денег на домашнюю обстановку, щеголял платьем, — все это не было, впрочем, прихотью, а скорее устанавливалось чувством изящного, которое было сильно развито в нем и проявлялось даже в мелочах.

По поводу Шумского я сообщил несколько сведений об А. Н. Островском; считаю не лишним остановиться здесь на другом писателе, далеко не столь крупного размера, в пьесе которого Шумский имел большой успех: «Свадьба Кречинского» А. В. Сухово-Кобылина. Тут воспоминания мои — воспоминания весьма

1) Герой популярного водевиля Д. Т. Ленского.

отрадные — переносятся к Выксунским чугуннoплавительным заводам, — имению Шепелевых, где отец Сухово-Кобылина был опекуном [1]).

Выксу часто посещал я в летнее время. Из Москвы лежал туда путь через Владимир и Муром; от Мурома по отвратительной песчаной дороге надо было ехать до р. Оки, а затем оставалось верст десять до Выксы. Здесь становилось еще хуже: глубокий сыпучий песок до самого поместья, так что лошади едва тащились; по сторонам — довольно жидкий сосновый лес, на всем печать какого то однообразия, наводившего тоску. Местоположение самой Выксы тоже не было особенно привлекательно. Я всегда страстно любил деревню, а Выкса представляла собой нечто среднее между деревней и городом; хорош был в ней только сад при барском доме — старинный, громадный и который в мое время содержался еще довольно исправно; сад этот был расположен с задней стороны дома; что касается передней стороны, то вид оттуда никак нельзя было назвать живописным: прямо перед окнами стояла домна, вечно топившаяся, огонь в которой не погасал даже в самые торжественные праздники, и застилавшая все своим дымом; по направлению к ней беспрерывно тянулись тележки, наполненные рудой; однообразный гул не прекращавшейся ни днем, ни ночью работы был невыносим. На Выксе нельзя было пользоваться именно тем, что составляет главную прелесть деревни, — прогулками; чтобы выдти в поле или рощу, надлежало совершить довольно длинное путешествие по улицам, да и затем на порядочном пространстве почва была изрыта ямами, так называемыми дудками, откуда извлекалась руда. Одно только приводило меня всегда в восторг, это — огромные пруды, настоящие озера, окаймленные лесом, но и они, по крайней мере живописнейшие их места находятся далеко от господского дома.

Основателями Выксунских заводов были в конце прошлого столетия двое братьев Баташевых [2]). О старшем из них, Андрее Родионовиче, сохранились мрачные воспоминания; рассказывали, что это был умный и распорядительный, но крайне жестокий хозяин. В этом отношении он даже превосходил известного князя

1) Выксунский железный завод — на речке Выксе, в 30 верстах от г. Мурома, Владимирской губернии; принадлежал Тульским купцам Баташевым; о нем см. в «Географическом Словаре Российского Государства» Щекатова, т. I, М. 1801, ст. 1232.

2) Родословие старинного Тульского рода Баташевых см. в «Тульском Родословце» В. И. Чернопятова, ч. VI, стр. 42—44. Андрей (ум. 1799) и Иван (род. 1741, ум. 1821) Родионовичи Баташевы указаны здесь под №№ 39 и 40. Подробнее о них см. в статье Ив. Родкевича в «Русском Биографическом Словаре», т. А—Б, стр. 566—569, а также в книжке П. П. Свиньина: «Заводы, бывшие Баташева, а ныне принадлежащие Шепелеву», С.-Пб. 1826, и у Е. Карновича: Замечательные богатства частных лиц в России, С.-Пб. 1885, стр. 158.

Грузинского[1]), которого Мельников описал в своей повести «Старые годы». Он был грозой для окрестных помещиков, силою отнимал у них земли, а те, которые думали сопротивляться, подвергались неистовствам; жалобы и процессы не вели ни к чему, ибо и администрация, и местные судьи были закуплены Андреем Баташевым. Охотно верю этим рассказам: в одной из комнат Выксунского дома висел портрет его (жаль было бы, если он затерялся), в высшей степени характерный; Андрей Родионович представлен на нем в сером кафтане и длинном камзоле; густые нависшие брови придавали мрачный, зловещий оттенок его взгляду; нос орлиный и большой; все черты лица массивные и грузныя; это была действительно физиогномия человека, способного на зверские подвиги[2]). Жил Андрей Родионович истым магнатом; за столом его собиралась толпа гостей; он выезжал не иначе, как в карете, запряженной цугом, вокруг которых скакали в обшитых золотыми позументами кафтанах гайдуки. Старожилы уверяли меня, что когда отправлялся он на охоту, то не редко прихлебатели из мелкопоместных дворян исполняли у него роль гончих, усердно бегали за зайцами, — и горе тому из них, кто не захотел бы служить подобной забавой. Одно время я жил в той самой комнате, где красовался портрет Андрея Родионовича, и, пристально глядя на него, ощущал крайне неприятное чувство. Напротив, Иван Родионович представлял резкий с ним контраст: судя по его портрету, этот худощавый, почти тщедушный старик с колпаком на голове привлекал своим добродушием[3]). Впоследствии между братьями произошел дележ: Андрей Родионович утвердил свое пребывание в Гусевском заводе, а Иван Родионович получил Выксу, которая и обязана была ему своим благоустройством. Когда, незадолго до моего первого приезда в это поместье, поставлен был в саду памятник с его бюстом, то толпы народа собрались на это торжество, и от стариков слышались добрые о нем отзывы...

Единственною наследницею Ивана Родионовича была его внучка Дарья Ивановна[4]); никто не считал ее красавицей, но все

1) Князь Егор (Георгий) Александрович Грузинский, камергер, Нижегородской Губернский Предводитель дворянства, владелец богатого села Лыскова, известный буян и самодур, умерший около 1843 г. Его характеристику см. у князя П. М. Долгорукова: «Путешествие в Нижний в 1813 г.», М. 1919, стр. 95 и след., а также статьи в «Русск. Арх.» 1899 г., кн. II, стр. 117—132 и 453—455 и кн. III, стр. 454—464 и 632—633.

2) Описание портрета А. Р. Баташева и образа жизни этого дикого человека дает также и Т. Толычева в статье своей о Выксунских Баташевых — в «Русск. Арх.» 1871г., кн. II, ст. 2116.

3) Описание портрета его, Т. Толычевой, см. там-же, ст. 2117.

4) Дочь Ивана Ивановича Баташева от брака его с Резвой (см. «Русск. Арх.» 1871 г., кн. II, ст. 2117); она умерла 22 августа 1818г., на 25 г. (Моск. Некрополь, т. III, стр. 342).

находили ее миловидной, а если принять в расчет, что в приданое за собой приносила она Выксунские заводы с несколькими тысячами крепостных крестьян, то очень понятно, что не было недостатка в искателях ее руки. Успех оказался на стороне Дмитрия Дмитриевича Шепелева. От родственников его я слышал, что будто брак состоялся при романических обстоятельствах: Шепелев, служивший в гусарах и порядочно промотавшийся, поселился где-то поблизости Мурома или в этом городе, завязал оттуда сношение с нянюшками и мамушками Дарьи Ивановны, не жалел для них подарков, еще щедрее сулил им золотые горы впереди, а они на все лады восхваляли его богатой наследнице. Когда почва была достаточно подготовлена, Шепелев поехал куда-то через Выксу и пред самым домом — разумеется согласно заранее составленному плану — коляска его опрокинулась, и он притворился, что шибко ушиб себе ногу. На Выксе, где были рады всякому заезжему гостю, приняли его с распростертыми объятиями, а он не спешил отъездом и успел так пленить Дарью Ивановну, что она согласилась выдти за него замуж. Сухово-Кобылин, отец писателя, тогда еще очень молодой человек, присутствовал на роскошной свадьбе и рассказывал мне, что ему пришлось тогда слышать от старика Ивана Родионовича следующие слова: «По смерти моей я оставляю зятю несколько чугунноплавительных заводов, 17.000 душ крестьян и полтора миллиона денег; при таких средствах если бы даже и захотел он разориться, то не сумеет».... Как ошибочно, однако, оказалось это предсказание! Дмитрий Дмитриевич был человек взбалмошный и пустой; о хозяйстве не имел никакого понятия, да и не обнаруживал желания сколько-нибудь серьезно заниматься им; вся задача его состояла в том, чтобы, — как выражается герой одной из комедий Островского, — «прожить с эффектом»; деньги беспутно сыпались направо и налево; зимой угощал он всю Москву в своем громадном доме на Швивой горке (построенном Иваном Родионовичем), а летом такой же разгул продолжался в деревне. Однажды недалеко от Выксы проходил гусарский полк: Шепелев устроил так, что его поместье избрано было стоянкой для этого полка, и в течение нескольких дней происходило там непрерывное и безумное пиршество, — такое пиршество, что воспоминания о нем сохранились надолго и самое поле за парком Выксунского дома, где расположены были палатки солдат, получило название «гусарского». При Дмитрии Дмитревиче Выкса сделалась чем-то в роде постоялого двора, где мог останавливаться и кутить всякий, кто умел забавлять хозяина [1]).

1) Дмитрий Дмитриевич Шепелев был генерал-лейтенантом; в 1814 г., 28 января, он был награжден орденом Владимира 2 ст.; время смерти его нам неизвестно.

Впрочем, разорение произошло не при Дмитрии Дмитриевиче. Он только положил ему начало, хотя и весьма солидное.

У него были две дочери и два сына: одна из дочерей, Анна Дмитриевна, вышла замуж за князя Льва Григорьевича Голицына, а другая, Елизавета,—за графа Ивана Павловича Кутайсова, внука известного фаворита императора Павла. Сыновья, Иван и Николай Дмитриевичи, воспитывались в каком то военном училище, затем поступили в гвардию, а по смерти отца вышли в отставку и избрали Выксу своим постоянным местопребыванием [1]).

Вот тут то и началось нечто невероятное. Я не знаком с историей рода Шепелевых [2]); весьма возможно, что в былое время этот род выставил нескольких полезных и отличавшихся заслугами дворян, но на тех представителях этой фамилии, которые в описываемое время известны были мне лично, лежал особый отпечаток. Это были большею частью люди умные и даже даровитые, но из ума и дарования их как-то не выходило ровно ничего; почему то они никогда не умели приладиться к серьезному делу, а если занимались чем-нибудь, то всякая деятельность принимала у них уродливое направление. В любом из них проявлялись черты болезненной раздражительности, и фантазия преобладала над разумом. Наглядным примером этого могли служить, между прочим, сыновья Дмитрия Дмитриевича, с тем различием, что старший из них, Иван, через свою мать, унаследовал кровь, текущую в жилах Андрея Родионовича Баташева. Он сделался полновластным распорядителем своих огромных имений, не допуская ни малейшего вмешательства со стороны своего слабохарактерного брата Николая Дмитриевича. Чтобы составить себе понятие об его изумительных причудах, достаточно было, помимо рассказов разных лиц, довериться только собственным глазам. Так, например, всякий, приезжавший на Выксу, не мог не удивляться, что хотя барский дом представлял огромное трехъэтажное здание и что в этом доме удобно поместился бы целый десяток семейств, Иван Дмитриевич пристроил к нему обширный каменный флигель. Внутренность этого помещения была крайне оригинальна: окна из разноцветных стекол, вследствие чего в комнатах царил таинственный полусвет; вся мебель в восточном вкусе, — полное отсутствие стульев, а только турецкие диваны, покрытые коврами; в некоторых комнатах устроены были потаенные лестницы в нижний этаж. Дело в том, что Иван Дми-

1) Много рассказов о братьях И. Д. и Н. Д. Шепелевых, их театре и оркестре см. еще в любопытных воспоминаниях Н. Я. Афанасьева в «Истор. Вестн.» 1890 г., № 7, стр. 38 и след.; поправку к ним упомянутой княгини А. Д. Голицыной, рожд. Шепелевой, — там-же, № 10, стр. 235 — 236, и «Русск. Арх.» 1871 г., кн. II, стр. 2117—2118.

2) Их родословие см. в «Русской Родословной Книге» князя А. Б. Лобанова-Ростовского, т. II.

триевич, особенно в последние годы своего хозяйничанья на Выксе, любил воображать себя султаном; иногда носил он даже турецкий костюм, чалму и принимал гостей не иначе, как сидя на диване с поджатыми ногами; или же совершал он торжественные выезды в таком же костюме, верхом, а за ним следовало несколько лакеев, у которых для сходства с настоящими арапами лица были вымазаны чем то черным. Где-нибудь в поле раскидывали великолепный шатер, и Иван Дмитриевич, окруженный крепостными одалисками, проводил тут несколько дней, разыгрывая роль восточного властелина. Все это рассказывал мне его beau-frère, добродушный, но глупый граф Иван Павлович [1]), тщетно пытавшийся образумить своего взбалмошного родственника. На одной из окраин Выксунского сада красовался театр. Можно сказать положительно, что даже в лучших из губернских городов не встречались подобные театры; декораций и костюмов было множество; зала для зрителей с ложами и партером отличалась изяществом; на сцене устроены были люки, — это потому, что на Выксунском театре давались не только драмы и комедии, но оперы и балеты; между прочим в «Цампе» сам Иван Дмитриевич, обладавший хорошим баритоном, исполнял главную роль; балетмейстером его был одно время Иогель [2]), известный всей Москве учитель танцев; многочисленный оркестр сформирован был на славу; окрестные помещики толпой съезжались на театральные представления, так что иногда зала не могла вместить всех посетителей.

Натура Ивана Дмитриевича была артистическая; он занимался рисованием, лепными работами, скульптурой, сочинял планы для возводимых им зданий, но во всем этом обнаруживал лишь способности дюжинного дилетанта. Главный же интерес представлял для него театр. До какого сумасбродства доходил он в этой своей страсти, свидетельствует между прочим следующий факт: однажды вечером, когда на сцене шла какая-то опера, главный управляющий явился к нему в ложу со страшным известием, что загорелась домна. Всякий, сколько-нибудь знакомый с чугуноплавильным делом, может понять важные последствия этого события. Вместо того, чтобы отправиться на место пожара, Иван Дмитриевич распорядился никого не впускать в театральную залу, чтобы тревожный слух не смутил публику и чтобы не было прервано преставление. Он сам просидел на месте до конца, всецело

1) Кутайсов.

2) Известный всей Москве в 1810—1820-х годах танцмейстер и устроитель балов Петр Андреевич Иогель (ум. 16 января 1855 г., 87 лет от роду); он упоминается в «Войне и Мире»; см. о нем: «Русск. Арх.» 1881 г., кн. I, стр. 251; 1901 г., кн. II, стр. 433; 1903 г., кн. I, стр. 153—154; «Русск. Стар.» 1895 г., № 12, стр. 144; 1899г., № 1, стр. 18; 1913 г., № 1, стр. 124; «Московский Некрополь», т. I, стр. 513.

поглощенный тем, что происходило на сцене. Репетиции посещал он с примерной аккуратностью и зорко следил за актрисами, своими фаворитками; как-то случилось ему перехватить записку, которую одна из них передала капельмейстеру Уланову. Иван Дмитриевич приказал посадить этого несчастного в «секретную», а на другой день сделалось известным, что Уланова уже нет в живых, что он умер будто бы от апоплексического удара. Если бы произошло это в конце прошлого столетия, то не показалось бы необычайным, но удивительно, что в царствование Николая Павловича подобный случай не вызвал ни следствия, ни суда, а между тем меня уверяли, что он не подлежит сомнению.

Бывали минуты, когда Иван Дмитриевич превращался в лютого зверя; жестокость его принимала даже дьявольски-утонченный характер. Он убедился, между прочим, что один из его управляющих нагло обманывает его. Надо заметить, что управляющий этот уже составил себе порядочное состояние, жил очень прилично и озаботился поместить в какое-то учебное заведение в Москве своего сына. Мальчик только что приехал тогда домой на вакационное время. Он то и сделался жертвой Ивана Дмитриевича, который подвергнул его жесточайшему истязанию розгами в присутствии родителей на том основании, что они души в нем не чаяли, и что мучения, испытываемые им, были для них чувствительнее всякого наказания, какое мог бы он придумать для них самих. Эта адская изобретательность достаточно ясно указывает на ненормальное состояние его умственных способностей. Мой друг П. Н. Кудрявцев, нередко посещавший Выксу, называл его Нероном Ардатовского уезда; он находил в чертах Ивана Шепелева много общего с Нероном, судя по мраморному его бюсту, сделанному каким-то известным художником в Риме и по его портрету, нарисованному известным Брюловым. И бюст, и портрет сохранились на Выксе.

Я застал еще многих из приближенных Ивана Дмитриевича; между прочим, проживала на Выксе и главная его султанша Шамарыгина, получившая не задолго до его падения вольную и вышедшая уж при мне замуж за какого-то горного офицера. Такой красавицы редко случалось мне видеть. С бывшими прикащиками и прислугой приходилось мне нередко беседовать об их прежнем господине. На вопрос мой, что было бы, если бы они узнали, что он возвращается в свое поместье, я почти всегда слышал одинаковый ответ: «Мы двинулись бы толпой к Досчатому (деревня, где переезжают Оку), выпрягли бы лошадей из коляски и привезли бы сюда Ивана Дмитриевича на руках». Слова эти показывают, до какого глубокого растления способно было довести людей крепостное право. Ивана Шепелева глубоко ненавидели, но, несмотря на то, время его управления Выксунскими заводами считалось золотым временем, — разумеется не

для всех, но для окружавших его челядинцев; это потому, что при беспутном его хозяйстве, при его безграничном мотовстве была полная возможность грабить, сколько угодно; воровство совершалось не по мелочам, а в грандиозных размерах; не подлежит сомнению, что если Иван Дмитриевич разорился, то одною из причин этого было происходившее на его глазах хищничество. Иногда, но лишь крайне редко, удавалось ему нападать на следы слишком явного грабежа, и тогда он свирепствовал, как показывает упомянутый мною выше поступок его с одним из проворовавшихся управляющих; но ведь подобные случаи были исключением, впечатление его кровавых экзекуций сглаживалось,—и все шло попрежнему.

К концу сороковых годов Выкса была обременана неоплатными казенными и частными долгами. Как ни слабохарактерен был брат Ивана Шепелева—Николай, его убедили, наконец, обратиться к Правительству с просьбой о назначении опеки, что и увенчалось успехом. Иван Дмитриевич, признанный расточителем, получил приказание выехать из Выксы и поселился в Москве, в своем доме на Швивой горке, получая весьма скромную сумму на свое содержание, а опекуном его был назначен родственник Шепелевых по своей жене—Василий Александрович Сухово-Кобылин [1]). Он находился когда-то в военной службе, участвовал в войнах с Наполеоном, имел Георгиевский крест, а затем, поселившись в Москве, состоял уездным предводителем дворянства. Человек почти вовсе необразованный, на вид несколько суровый, но в сущности добродушный, он отличался большим здравым смыслом и нравственными своими качествами внушал к себе общее уважение. С прибытием его на Выксунские заводы, все тамошние порядки подверглись тотчас же коренной перемене.

Вот к этому то времени и относятся мои летние посещения Выксы. Все в ней смутно напоминало прежний блеск и носило следы крайнего разрушения. В доме, который, по размерам его, можно было без особой натяжки назвать дворцом, стояла довольно жалкая мебель; на стенах висело несколько сомнительного достоинства картин, — все, что было получше, давно пошло в продажу; некоторые комнаты были оклеены дорогими, хотя и поблекшими обоями, а в других обои были только что приличны; с одной стороны дома тянулась длинная галлерея, которая в прежнее время утопала в цветах, а теперь от ветхости и хо-

1) В. А. Сухово-Кобылин был женат на Марье Ивановне Шепелевой, дочери Ивана Дмитриевича Шепелева и кузине Ивана и Николая Дмитриевичей Шепелевых; приглашение его опекуном на Выксу было вызвано, по словам княгини А. Д. Голицыной, рожд. Шепелевой, не только узами родства и дружбы с детства, но и глубоким уважением к личности Сухово-Кобылина («Истор. Вестн.» 1890 г., № 10, стр. 235 — 236).

дить по ней ни у кого не хватало отваги; в праздничные дни, по заведенному порядку, играл за обедом хор музыкантов, но костюм их показывал, что они давно уже обречены на печальное существование. Опекун Сухово-Кобылин поступил весьма разумно, решившись тратить как можно меньше на ремонт господского помещения, ибо прежде всего надлежало извлечь самые заводы из их бедственного упадка, заботиться о необходимом и существенном, а не о прихотях. Конечно, дело, за которое он взялся, было для него совершенно ново, и не раз приходилось мне слышать, что ведет он его не так, как-бы следовало, что на каждом шагу обнаруживает он недостаток необходимых сведений, что напрасно не привлекает он к себе людей, которые могли бы ему помочь в этом отношении, что для чугуннoплавительных заводов нельзя иметь только одного механика, человека очень честного, но почти самоучку. Все это так, — тем не менее, Сухово-Кобылин принес существенную пользу; это был хозяин в настоящем смысле слова, исполнявший свои обязанности, несмотря на преклонные лета, с неутомимою энергиею; важно было уже то, что он установил строгий порядок там, где господствовал возмутительный хаос.

Жилось на Выксе очень приятно. Летом съезжалась туда вся семья старика Кобылина, — дочь его, известная писательница графиня Салиас [1]), другая его дочь Софья Васильевна [2]), очень умная девушка, с большим успехом занимавшаяся живописью; она всегда приглашала для совместных занятий художников, между которыми главным ея руководителем был Егор Мейер [3]). Нас, молодых людей, пленяли две замечательные красавицы, еще очень молодые девушки, — графиня Ида Ивановна Кутайсова, дочь графа Ивана Павловича [4]), и княжна Ольга Голицына [5]),

1) Графиня Елизавета Васильевна Салиас-де-Турнемир, известная писательница «Евгения Тур»; Феоктистов, еще студентом, был близок к ее семье, в которой был домашним учителем.

2) С. В. Сухово-Кобылина (род. 1825 г., ум. в Чернском уезде Тульской губернии 25 сентября 1867 г.) большую часть жизни провела заграницею, проживая в Риме («Русск. Арх.» 1901 г., кн. III, стр. 58; см. еще «Васильки. Историко-Литературный сборник», С.-Пб. 1901 г., стр. 421 и след.; В. И. Чернопятов, Тульский Некрополь, М. 1912 г., стр. 154). Ею написано «Воспоминание о последних днях жизни архимандрита Порфирия, настоятеля Российской посольской церкви в Риме», напечатанное в «Страннике» 1867 г., № 5 (и отд. изд.).

3) Егор Егорович Мейер, академик-пейзажист, ум. в Петербурге 29 января 1867 г.

4) Графиня Ида Ивановна Кутайсова (род. 27 октября 1836) в ноябре 1854 г. вышла замуж за кавалергардского офицера князя Бориса Андреевича Голицына, но через год умерла от родов — 8 октября 1855 г.

5) Княжна Ольга Алексеевна Голицына (род. 16 сентября 1838 г.), дочь князя Алексея Алексеевича Голицына от брака его с графиней Александрой Павловной Кутайсовой (род. 1804, ум. в Брюсселе в 1881 г.), в 1861 г. вышла замуж за Бельгийского графа Раймунда Корнэ-де-Грэ.

дочь его сестры, княгини Александры Павловны, вышедшая потом замуж за какого-то Бельгийского графа и, кажется, уже никогда не возвращавшаяся в Россию.

Говоря о Выксунских обитателях, нельзя не упомянуть о самом владельце поместья, Николае Дмитриевиче Шепелеве. То было совершенное подобие Тентетникова, изображенного Гоголем во второй части «Мертвых душ», — с тою только разницей, что Тентетников, по уверению Чичикова, занимался сочинением истории русских генералов, а Николай Шепелев не способен был ровно ни к какому занятию. Жизнь его протекала весьма однообразно: просыпался он не ранее 12-го часа и долго лежал в постели с трубкой во рту; он был очень рад, если в это время кто-нибудь заходил к нему, и следовательно являлась возможность убить время в бессодержательной болтовне; затем часу в четвертом являлся он к обеду, а после обеда играл на биллиарде; вечером же всегда устраивался или пикник, или гулянье на лодках и т. п. Когда же все расходились спать, для Николая Дмитриевича наступало время настоящего бодрствования; при нем состояли два камердинера — дневной и ночной; обязанности последнего считались особенно важными, так как он должен был до трех часов утра, а иногда и позднее беспрерывно набивать трубку и держать на готове горячий самовар. В жизни моей не встречал я человека, который поглощал бы такое количество чая и выкуривал бы столько трубок, как Николай Дмитриевич! Единственно в этом и состояло его ночное бдение. Если бы, по крайней мере, по ночам он читал что-нибудь, — нет! Как-то в течение целого лета валялась в его комнате только одна книга: «Ледяной дом» Лажечникова, да и то, кажется, без всякого употребления. Он или лежал на диване, или ходил из угла в угол, как будто погруженный в глубокую думу, но действительно-ли он думал о чем-нибудь, — этого никто не мог угадать. По временам, однако, Николаем Дмитриевичем вдруг овладевала судорожная деятельность, а именно, когда возникал вопрос об устройстве домашнего спектакля; он смотрел на это, как на дело величайшей важности; удовольствие превращалось для всех в мучение; он сидел почти безвыходно в театре, созывал на репетиции чуть ли не по два раза в день, приходил в отчаяние, когда относились к этому не совсем серьезно, надоедал каждому из нас бесконечными совещаниями о том, как надо гримироваться, какой надеть парик и т. п. В эти тяжкие для него дни несчастный заметно даже худел, ибо днем находился в лихорадочном возбуждении, а по ночам все-таки накачивал себя чаем и выкуривал бесчисленное число трубок. А уж что происходило в самый день спектакля, об этом и говорить нечего...

Лет восемь или девять управлял В. А. Сухово-Кобылин Выксунскими заводами и значительно поправил их. Конечно, по-

прежнему обременены были они громадными долгами, но являлись надежды, что при соблюдении строгой экономии и порядка удастся, хотя и не скоро, извлечь их из бедственного положения. К сожалению, не суждено было этому осуществиться. Вскоре начали обнаруживаться зловещие признаки события, которое разсеяло в разные стороны Выксунское общество.

Кто мог бы подумать, что катастрофа будет вызвана любовной интригой? — но еще страннее, что героем романа явился человек, уже переступивший семидесятилетний возраст. Лукавый попутал старика Кобылина. Он влюбился, как только могут влюбляться едва оперившиеся юноши или выжившие из ума старцы, — влюбился до глупости, до забвения всяких приличий, и предметом его страсти была какая-то Заварыкина, жена проживавшего на Выксе мещанина. Последствием сего были (прежде всего) семейные драмы, ибо тайна престарелого селадона не могла укрыться от его супруги, Марии Ивановны, которая, несмотря на свои шестьдесят лет, прониклась неистовою ревностью. Эта женщина, урожденная Шепелева, представляла собой тоже довольно оригинальное явление. Говорили, что в молодости она отличалась красотой; следы красоты она сохраняла и в то время, когда я познакомился с ней, но едва ли когда-нибудь красота эта была привлекательна; уж слишком поражала Мария Ивановна отсутствием всякой женственности, чем то грубым и резким во всей своей фигуре. Она похвалялась, что в девичьи свои годы сама объезжала лошадей и ходила с ружьем на охоту, — под старость она конечно, уж не предавалась этим занятиям, но за то не выпускала изо рта сигару. Помещица она была суровая: крепостным приходилось у нее очень жутко, но так как преподавателями у ее детей были когда-то люди, занимавшие более или менее видное положение в ученом мире, — между прочим, известный Н. И Надеждин [1]) и Ф. Л. Морошкин [2]), — то Мария Ивановна не прочь была побеседовать о предметах, вызывающих на размышление, и даже прочесть ту или другую серьезную книгу. Нередко после расправы с горничными и лакеями, когда пощечины щедро расточались ею направо и налево, она закуривала сигару и усаживалась на диване с французским переводом философии Шеллинга в руках. Более странного сочетания мнимой образованности и самых диких крепостнических привычек не случалось мне встречать на моем веку. В. А. Сухово-Кобылин давно уже охладел к подруге своей жизни или даже возненавидел ее, но она никак не хотела оставить его на покое. И это

1) О вечерах у Сухово-Кобылиных и о романе Надеждина и Елизаветы Васильевны Сухово-Кобылиной (впоследствии графини Салиас) см. в книге Н. К. Козмина: Н. И. Надеждин, С.-Пб. 1912, стр. 458—525.

2) Профессор Федор Лукич Морошкин преподавал Е. В. Сухово-Кобылиной Русскую историю.

вовсе не потому, чтобы сохранила к нему сколько-нибудь нежные чувства, — необузданная ее натура никак не допускала ее примириться с мыслью, что какая-то Заварыкина разыгрывает роль барыни. Каждый приезд ее на Выксу ознаменовывался безобразными сценами, а поводов к тому было не мало. Василий Александрович все более и более становился посмешищем для Выксунского люда; в торжественные дни, как, например, в именины своей возлюбленной, он являлся у нее не иначе, как во фраке и с орденами, — и это в обществе разных писарей, прикащиков и т. п. Но это еще мелочи. Худо было то, что достойный супруг фаворитки сделался настоящим кровопийцей Выксы; мало по малу он все забрал в свои руки; с ним заключаемы были невероятные по невыгодности для заводов контракты; одуревший опекун ничего не придпринимал без его согласия, а тот бестыдно набивал себе карман. Кончилось тем, что прислана была коммиссия для ревизии Выксунского управления, — и В. А. Сухово-Кобылин вынужден был покинуть свое место. Сам он не попользовался ни одной копейкой, — никому не приходило в голову упрекнуть его в этом, — тем не менее, он оставил по себе печальную память. Перед отъездом его с Выксы Заварыкин, желая еще чем-нибудь от него поживиться, внезапно прозрел, убедился, что жена его находилась в преступных с ним отношениях, заручился его корреспонденцией с ней и требовал несколько тысяч отступного, угрожая старику, в случае отказа, преследовать его за прелюбодеяние.

По удалении Сухово-Кобылина дела не только не улучшились, но пошли еще хуже. Впрочем с тех пор мне уже не случалось бывать на Выксе, а только слышал я со всех сторон об окончательном разорении этого некогда славного поместья. Несчастный Николай Шепелев переехал в Москву и влачил до своей смерти (брат его умер еще прежде) печальное существование, нуждаясь иногда даже в самом необходимом.

Лет десять спустя прочитал я в газетах известие, что в Муроме происходило торжественное освящение храма, в сооружении коего принимал деятельное участие один из именитых Муромских граждан, городской голова Заварыкин; на обеде пили его здоровье и хор певчих пел ему многая лета; к торжеству этому как-то примазался и другой достойный муж, известный своими похождениями генерал Е. В. Богданович [1])... Злая ирония судьбы! Поверил ли бы Иван Родионович Баташев, если бы кто-нибудь

1) Евгений Васильевич Богданович, генерал-от-инфантерии, член Совета Министра Внутренник Дел, сделавший карьеру на издании патриотических брошюрок, религиозных книг и подобных изданий, на посылке приветственных телеграмм высокопоставленным лицам и т. д.; умер 30 августа 1914 г., 85 лет от роду.

предсказал ему, что станется с его громадном состоянием? Ближайший его потомок, забытый всеми, сошел в могилу почти в нищете, а кулак, торговавший своей женой и грабивший Выксу, преспокойно пользовался плодами своих позорных подвигов! Впрочем, что же тут удивительного? Разве мало таких страниц в истории нашего дворянства?

Выкса отвлекла меня, однако, далеко в сторону. Я хотел говорить об Александре Сухово-Кобылине, сыне Василия Александровича, и увлекся воспоминаниями о Выксунских заводах только потому, что там впервые познакомился с ним и имел возможность хорошо его изучить.

Не подлежит сомнению, что это был человек очень умный, а о способностях его свидетельствует уже написанная им комедия [1]); окончил он курс в Московском Университете и даже при выпуске получил золотую медаль; он много путешествовал, любил серьезное чтение, — словом, все, повидимому, сложилось в его пользу, а между тем едва ли кто-нибудь возбуждал к себе такое общее недоброжелательство. Причиной этого была его натура, — грубая, нахальная, нисколько не смягченная образованием; этот господин, превосходно говоривший по-французски, усвоивший себе джентельменские манеры, старавшийся казаться истым Парижанином, был, в сущности, по своим инстинктам, жестоким дикарем, не останавливавшимся ни пред какими злоупотреблениями крепостного права; дворня его трепетала. Мне не раз случалось замечать, что такие люди, отличающиеся мужественною красотой, самоуверенные до дерзости, с блестящим остроумием, но вместе с тем совершенно бессердечные, производят обаятельное впечатление на женщин. Александр Кобылин мог похвалиться целым рядом любовных похождений, но они же его и погубили.

Еще за несколько лет до того, как я познакомился с ним, он привез из Парижа Француженку m-lle Симон, которая страстно его любила [2]). Мне случалось встречаться с ней довольно часто. Она была женщина уже не первой молодости, но сохранила следы замечательной красоты, не глупая и умевшая держать себя весьма прилично. О такте ее свидетельствует то, что ей удалось снискать расположение всех родственников Кобылина, которые убедились,

1) Знаменитая «Свадьба Кречинского»; главным образом эта популярная комедия послужила поводом для избрания А. В. Сухово-Кобылина (25 февр. 1902 г.) в Почетные Академики Разряда изящной словесности Академии Наук. Наиболее цельный и ценный очерк жизни и литературной деятельности Сухово-Кобылина принадлежит С. А. Переселенкову — в «Ежегоднике Петроградских Государственных Театров», сезон 1918-1919 г., под ред. А. С. Полякова, Пгр. 1922, стр. 125—156.

2) О Симон Деманш и ее убийстве см. статьи А. А. Голомбиевского «Драма из жизни писателя» — «Русск. Арх.» 1900 г., № 2, и другие статьи, перечень коих см. в указанной статье С. А. Переселенкова, стр. 138—139 и 154 (прим. 44).

что ею руководит искреннее чувство, а не какие-нибудь корыстные рассчеты. Вполне довольна своею судьбою она не могла быть, потому что Кобылин часто изменял ей, но так как каждое его увлечение длилось недолго и он все-таки возвращался к ней, то после более или менее бурных сцен наступало примирение. В 1850 году одна из любовных его интриг возбудила в ней, впрочем, сильное беспокойство. В это время в Московском beau-monde'е засияла новая звезда — Надежда Ивановна Нарышкина, урожденная Кнорринг, которая многих положительно сводила с ума[1]); поклонники этой женщины находили в ней необычайную прелесть, на мой же взгляд она далеко не отличалась красотой: небольшого роста, рыжеватая, с неправильными чертами лица, она приковывала к себе внимание главным образом какою-то своеобразною грацией, остроумною болтовней и тою самоуверенностью и даже отвагой, которая свойственна так называемым «львицам». Н. И. Нарышкина страстно влюбилась в Кобылина, и в обществе уже ходили слухи об их интимных отношениях, а вскоре отношения эти перестали быть тайной для кого бы то ни было, вследствие страшного события: за одной из Московских застав, недалеко от кладбища, m-lle Симон найдена была убитой[2]).

Кто совершил это преступление?

Процесс длился очень долго, и я не считаю нужным останавливаться подробно на этой в высшей степени любопытной странице нашего тогдашнего уголовного судопроизводства[3]). Ограничусь только своими личными впечатлениями. Тотчас же образовались два мнения: одни утверждали, что убийца был Кобылин, и дело, по словам их, происходило таким образом. Дом свой на Страстном бульваре отдал он в распоряжение своей сестры, г-жи Петрово-Соловово, приехавшей на зимние месяцы в Москву, а сам поместился во дворе того же дома, во флигеле, куда и приезжала к нему по вечерам m-me Нарышкина; однажды m-lle Симон (она жила на углу Тверской и какого-то,— кажется, Газетного,— переулка), давно уже следившая за своею соперницей, сумела в поздний час проникнуть к своему возлюбленному; с проклятиями и ругательствами набросилась она на них, и Кобылин пришел в такую ярость, что ударом подсвечника или чего-то другого уложил ее наповал. Затем склонил он деньгами прислугу вывезти ее за город. Для всякого, кто имел понятие о необузданной на-

1) Жена умершего в 1855 г. Александра Григорьевича Нарышкина; в 1865 г. она вышла вторично замуж— за известного писателя Александра Дюма-сына и умерла 21 марта 1895 г., 69 лет (см. «Русский Некрополь в чужих краях», вып. I, Пгр. 1915, стр. 31; «Русск. Арх.» 1910 г., кн II, стр. 315).

2) Убийство совершено было 9 ноября 1850 г.

3) Некоторые черты его отражены в драме Сухово-Кобылина «Дело» (1869).

туре Кобылина, не представлялось в этом ничего несбыточного. Другая версия была следующего рода: m-lle Симон, подобно многим иностранцам и иностранкам, приезжавшим в Россию, обращалась крайне придирчиво и сурово с прислугой, отданною в ее распоряжение Кобылиным; беспрерывно раздражала она его своими жалобами, а он расправлялся с этими несчастными по-своему, и, доведенные наконец до крайней степени озлобления, они решились умертвить женщину, которую считали главной виновницей своей печальной судьбы. Опять таки и это было весьма правдоподобно. В пользу последнего предположения говорило то обстоятельство, что люди, находившиеся в услужении у m-lle Симон, вскоре после того, как посадили их в острог, сами сознались в совершенном ими преступлении. Через несколько времени они заявили, однако, что сознание это было вынужденное, что Кобылин сулил им через кого-то всякие блага, если они примут вину на себя, и уверял, что их подведут под всемилостивейший манифест. Не подлежит сомнению, что следователи играли с самого начала крайне гнусную роль: с одной стороны они боялись генерал-губернатора графа Закревского, который не сомневался в виновности Сухово-Кобылина, а с другой Кобылин представлял для них чрезвычайно лакомый кусок. Помню, что однажды вечером, в самом начале этой истории, beau-frère его М. Ф. Петрово-Соловово [1]), приехавший со свидания с главным следователем Троицким, рассказывал при мне, что Троицкий запросил 30.000 руб., чтобы снять с Кобылина всякую тень подозрения. Вообще на деньги не скупились.

Скандал был чрезвычайный. Нарышкина сделалась притчею во языцех; ужасные минуты переживал ее муж, человек, пользовавшийся общим уважением, имя которого вдруг послужило предметом самой отвратительной хроники. Что касается Кобылина, то из разговоров, которые приходилось мне слышать, я мог убедиться, что за крайне редкими исключениями никто не принимал его сторону, — такое успел он внушить к себе отвращение. Вскоре посадили его под арест на гауптвахту, затем выпустили, а через несколько времени новая следственная комиссия опять его арестовала.

Я был очень молод, когда происходило все это; в то время я оканчивал курс в Московском Университете; родственники Кобылина, с которыми приходилось мне видеться беспрерывно, не могли, конечно, не влиять на меня своими суждениями и рассказами,—не удивительно поэтому, что я был готов считать Кобылина непричастным к убийству m-lle Симон. Впоследствии зародились, однако, у меня сомнения,—главным образом по следующим соображениям: Кобылин не жалел денег, чтобы обелить

1) Женатый на сестре А. В. Сухово-Кобылина, Авдотье Васильевне.

себя; он нашел сильных покровителей, сестра его Софья Васильевна получила доступ к великой княгине Марии Николаевне, которая отнеслась очень сочувственно к несчастию, постигшему ее семью; даже граф Закревский совершенно изменил свой взгляд на дело; Министерство Юстиции прислало из Петербурга особых чиновников для пересмотра следствия, — тем не менее, несмотря ни на какие старания и хлопоты, Кобылин отделался лишь тем, что одинаково и его, и людей, которые служили m-lle Симон, оставили в сильном подозрении. Никто не оказался виновным. Как же было не усомниться, что тяжкий грех остался на душе Кобылина! Но при этом возникает предо мной его фигура в те дни, когда было обнаружено преступление: нельзя представить себе, какое страшное отчаяние овладело им при известии о насильственной смерти женщины, которая в течение многих лет питала к нему безграничную преданность. Этот суровый человек рыдал, как ребенок, беспрерывно повторялись у него истерические припадки, он говорил только о ней и с таким выражением горя и любви, что невозможно было заподозрить его искренность. Неужели все это была только комедия, которую с утра до ночи разыгрывал он перед своею матерью и сестрами? И затем, когда потребовали его к допросу, когда прямо высказали ему, что считают его убийцей, он отнесся к этому с негодованием и яростью, едва ли свойственными преступнику. Но если даже и заподозрить его в притворстве, — хотя самый лучший актер не сумел бы с таким искусством и в течение столь продолжительного времени разыгрывать роль, — что сказать о Нарышкиной? С того дня, как огласилось убийство, она почти не покидала Кобылина, находилось постоянно в обществе его родных и ни единым словом, ни единым мускулом своего лица не обнаружила, чтобы была сколько-нибудь причастна к страшной тайне. Неужели и она могла с таким поразительным самообладанием носить личину?

Вообще, событие, которого я коснулся здесь, представляется для меня неразрешимою загадкой.

После судебного приговора Кобылин вовсе отшатнулся от общества или, вернее, — общество отшатнулось от него. Озлобленный, проживал он большею частию в деревне, изрыгая проклятия на Россию, которая сделалась ему особенно ненавистна после отмены крепостного права. Так как пребывание в Москве оказалось для Нарышкиной невозможным, то она уехала навсегда за границу, где вышла замуж за известного романиста Александра Дюма-сына.

Кроме «Свадьбы Кречинского», Кобылин написал еще две пьесы[1]), не обнаруживавшие ни малейшего таланта; вместо

1) «Дело» и «Смерть Тарелкина». Б. М.

сколько-нибудь живых лиц, являются в них грубо намалеванные каррикатуры, и единственная цель этих жалких произведений заключалась в том, чтобы заклеймить господствовавшие у нас до пятидесятых годов порядки, хотя, — я убежден в том, — если бы задумал автор изобразить порядки, пришедшие им на смену, то злоба его выразилась бы еще рельефнее. Шумскому очень хотелось бы (это было уже в конце шестидесятых годов) воспользоваться пьесой «Дело» для своего бенефиса. «Как вам пришло это в голову?—спрашивал я его: «Разве вы не видите, что это полнейшая бездарность?...» — «Конечно вижу, отвечал он, тем не менее пьеса имела бы большой успех; у нас теперь публика не требовательна; выйди только актер на сцену, да скажи громогласно: «Все губернаторы дураки», — так театр разнесут от восторга»...

Тургенев и его корреспонденты [1]).

1. ПИСЬМО ТУРГЕНЕВА К Л. Н. ВАКСЕЛЮ.

С. Спасское.
27-го Іюня 1852 г.
С. Спасское.

Любезный Левъ Николаевичъ,

Странной игрою случая, которая впрочемъ разыгрывается у него довольно часто, я получилъ Ваше письмо отъ 30-го мая только 4 дня тому назадъ. — Я уже знаю о смерти бѣднаго Даша — и замѣчу только кстати, что какъ Вамъ не совѣстно дѣлать себѣ упрекъ на его счетъ, — всѣ мы смертные и собаки тоже — досадно мнѣ, что Вы не пріѣдете ко мнѣ ранѣе 25-го Іюля — надѣюсь, что по крайней мѣрѣ къ тому времени Вы будете — а у меня уже все было готово. Ваша комнатка Васъ ждала и т. д.

Я ѣду завтра на тетеревовъ въ Жиздренскій уѣздъ — къ сожалѣнію — погода у насъ стоитъ очень дурная — что-то будетъ дальше. — Діанку я нашелъ въ исправности — дочь ея тоже. — Посмотримъ какъ она будетъ дѣйствовать — дочь то-есть, старуху то я знаю — робка она очень, дочь-то.

Желаю Вамъ всего хорошаго и отличнаго здоровья — Жму Вамъ дружески руку и жду Васъ черезъ мѣсяцъ.

Преданный Вамъ
Ив. Тургеневъ.

P. S. Вашъ братъ на дняхъ здѣсь проѣхалъ. Посылаю это письмо по Вашему городскому адресу.

Л. Н. Ваксель (1811—1886) — страстный охотник, автор руководства «Карманная книжка для начинающих охотиться с ружьем и легавой собакой». СПб., 1856, выдержавшей пять изданий.

В Сборнике Российской Публичной Библиотеки, II. 1920 г., т. I, на страницах 193—197, помещены письма Тургенева к Вакселю 1) от 29 января 1853 г., 2) 25 мая 1853, 3) 18 октября 1854. В коментариях к ним не указано, что последнее из этих писем было уже воспроизведено в «Современнике» 1913 г., № 8. Одно письмо к нему же, гадательно датированное маем 1852 г., опубликовано в издании Центрархива «Документы по истории литературы и общественности», вып. 2. И. С. Тургенев, стр. 44. Настоящее письмо печатается с автографа, хранящегося в Пушкинском Доме, в собрании П. Я. Дашкова.

Сообщил *М. Клеман.*

---

1) Все письма печатаются по орфографии подлинников.

2. ПИСЬМО ТУРГЕНЕВА К И. Ф. МИНИЦКОМУ.

С. Спасское.
12 Мая 1853.

Я оттого не тотчасъ отвѣтилъ на Ваше письмо, любезный Миницкій, что меня дома не было: я уѣхалъ на охоту верстъ отсюда заполторасто — и только третьяго дня возвратился. Начну мой отвѣтъ съ самаго для меня непріятнаго — съ необходимости отказать Вамъ въ вашей просьбѣ. — Вы знаете что я всегда готовъ служить Вамъ больше чѣмъ кому нибудь; но мои дѣла рѣшительно не позволяютъ мнѣ даже думать о какой нибудь лишней издержкѣ. Денегъ едва достаетъ на прожитокъ — долговъ множество — словомъ я къ крайнему моему сожалѣнію поставленъ въ совершенную невозможность помогать теперь другимъ. — Я даже обѣщанныхъ пенсій выплатить не могу — мнѣ это очень тяжело — но дѣлать нѣчего. — Не знаю, долженъ ли я радоваться мѣсту, которое вы получили, — мнѣ какъ то очень трудно вообразить себѣ Васъ надзирателемъ — но если черезъ это мѣсто Вы можете достать себѣ порядочное количество уроковъ — то съ Богомъ! Потерпите годокъ, другой. Главное не пренебрегайте Вашимъ здоровьемъ — если мнѣ позволятъ со временемъ выѣхать изъ Спасскаго — то я непремѣнно пущусь на югъ — и побываю въ Одессѣ. Мнѣ бы хотѣлось увидѣть Васъ здоровымъ, веселымъ и по мѣрѣ возможности счастливымъ. Можетъ быть я въ нынешнюю зиму буду въ Одессѣ.

Очень меня тронулъ конецъ Вашего письма. — Да, Миницкій, лучшая пора въ жизни человѣка — его молодость — не только потому, что тогда ему и спится и ѣстся лучше и силъ въ немъ больше — но потому что тогда въ немъ зажигается и горитъ то «священное пламя», надъ которымъ смѣются только тѣ, въ чьихъ сердцахъ оно либо погасло, либо никогда не вспыхивало. — Поддержите въ себѣ эту благородную рѣшимость, которая дышетъ теперь въ Вашихъ словахъ — и знайте, что безъ вѣры, безъ глубокой и сильной вѣры не стоитъ жить — гадко жить; знайте что это говоритъ Вамъ человѣкъ, про котораго можетъ быть думаютъ что онъ весь насквозь проникнутъ ироніей и критикой — но безъ горячей любви и вѣры — иронія — дрянь и критика хуже всякой брани. — Если разобрать поэзію зла, воплощенную въ типѣ сатаны — то и въ ней мы найдемъ основаніемъ — безконечную любовь — вспомните Consuelo. — Во всякомъ случаѣ — наше призваніе — не быть чертями — будемте людьми — постараемся быть ими какъ можно долѣе — «Съ Богомъ въ трудную дорогу»!

Вотъ что я Вамъ могу сказать о себѣ; здоровье мое, которое чуть было не расклеилось совсѣмъ весной — теперь поправилось.

Работалъ я много, кончивъ первую часть моего романа — 12 главъ — страницъ около 300. — Можетъ быть, я Вамъ прочту все это въ Одессѣ — скорѣй чѣмъ мы думаемъ.

Авторъ прелестной повѣсти «Дѣтство» — нѣкто графъ Л. Н. Толстой — живетъ въ 10-ти верстахъ отъ Тургенева — но теперь онъ на Кавказѣ.

Съ будущей тяжелой почтой пошлю вамъ экземпляръ моихъ «Записокъ» — на память нашего житья вмѣстѣ. Мои «Записки» — мнѣ кажутся теперь произведеніемъ весьма незрѣлымъ — но я все-таки радъ ихъ успѣху. Уже три мѣсяца как всѣ экземпляры разошлись.

Прощайте добрый Ив. Оед. Всѣ здѣшніе Вамъ очень и очень кланяются. Вы не повѣрите какъ мнѣ тяжело отказать Вамъ въ Вашей прозьбѣ — при Вашихъ обстоятельствахъ.... Не станемъ говорить объ этомъ. Будьте здоровы и вѣрьте въ искреннюю преданность

Вашего Ив. Тургенева.

Печатаемое нами письмо И. С. Тургенева к доктору И. Ф. Миницкому — одно из интереснейших свидетельств о настроениях писателя в годы невольного пребывания в Спасском — крайне неисправно и с большими пробелами опубликовано было в «Вестн. Евр.» 1909, VIII, 632—633. Мы воспроизводим его полностью по копии, тщательно сделанной проф. А. И. Маркевичем при подготовке им к печати в 1902 г. всех 15 тургеневских автографов из собрания А. И. Миницкого. Согласно воле последнего, А. И. Маркевич предполагал опустить в печати два места письма, связанных с финансовыми отношениями корреспондентов, но в копии своей их сохранил, отчеркнув лишь карандашем. Ср. «Вестн. Евр.» 1909, VIII, 626—638.

— Произведение, об окончании «первой части» которого упоминает Тургенев, являлось его первым опытом в облюбованном им впоследствии жанре общественно-бытового «большого романа». Неблагоприятные отзывы друзей автора об этой работе заставили его сначала обратиться к коренной переделке начальных глав, а затем и вовсе их оставить. В печати известен лишь небольшой отрывок произведения — «Собственная господская контора» — опубликованный впервые в «Москов. Вестнике» за 1859 г. Сводку некоторых данных о недовершенном тургеневском романе дал Н. М. Гутьяр, «И. С. Тургенев», Юрьев, 1907, стр. 156—159.

— Тургеневское свидетельство о том, что уже к началу 1853 г. «все экземпляры» отдельного издания Записок охотника «разошлись», совершенно не оставляет места наивным предположениям автора известного «предисловия» к посмертному пол. собр. сочинений И. С. Тургенева о медленном расходе издания 1852 г. Ср. Ю. Г. Оксман, «И. С. Тургенев. Исслед. и матер. I, Од., 1921, стр. 30.

— «Consuelo» — известный роман Жорж-Занд, пользовавшийся особенно большим успехом в русских литературных кругах 40-х годов.

Сообщил *Ю. Оксман.*

3. ПИСЬМО ТУРГЕНЕВА К А. В. ДРУЖИНИНУ.

С. Юшково (Карачевскаго уѣзда).
20-го Августа 1855.

Пишу къ Вамъ отвѣтъ на Ваше письмо, любезнѣйшій Александръ Васильевичъ, изъ деревни, куда я пріѣхалъ третьяго дня въ надеждѣ пострѣлять дупелей; но болота всѣ высохли, благодаря продолжительной осенней засухѣ, послѣдовавшей за лѣтнею — и дичи нѣтъ. — Собираюсь въ Карачевъ — (отсюда за 25 верстъ) — авось тамъ пощастливится. — Ваше письмо меня порадовало — скажу Вамъ безъ обиняковъ, что Вы принадлежите къ числу людей, которые съ перваго взгляда мало нравятся, но къ которымъ, чѣмъ больше ихъ узнаешь, тѣмъ больше привязываешься — а это про немногихъ можно сказать. — Если мнѣ удастся благополучно прибыть въ Петербургъ къ половинѣ октября — у меня уже заранѣе рисуется въ головѣ пріятная перспектива частыхъ бесѣдъ, толковъ и споровъ зимой. Мнѣ кажется, что мы во многихъ вопросахъ съ разныхъ точекъ смотримъ на вещи — да и натуры наши различны — но такъ какъ мы оба, по мѣрѣ возможности, честны и искренни въ своихъ стремленіяхъ, то самая эта честность сближаетъ насъ едва ли не болѣе, чѣмъ однообразіе воззрѣній. — Я на дняхъ прочёлъ — «Авторскую Исповѣдь» Гоголя — и невольно думалъ о Васъ — какъ жалка эта смутная чепуха, эта самолюбивая возня съ самимъ собою — передъ ясною, здравою, безличною художественностью Пушкина! — Но оба вліянія, по моему необходимы въ нашей Литературѣ — Пушкинское отступило-было на второй планъ — пусть оно опять выступитъ впередъ — но не съ тѣмъ чтобы смѣнить Гоголевское. — Гоголевское вліяніе и въ жизни и въ Литературѣ намъ ещё крайне нужно. Обо всёмъ этомъ мы потолкуемъ — и не однажды.

Заранѣе радуюсь Вашимъ статьямъ о Краббѣ — я увѣренъ что это будетъ — прелесть. — На это дѣло Вы мастеръ — и едва ли не единый мастеръ на это у насъ на Руси.

Я исполнилъ Ваше порученіе передъ семействомъ Гр. Толстого — эти безцеремонные и добрые люди извиняютъ Васъ совершенно и кланяются Вамъ, дружески. — Мои всѣ тоже Вамъ кланяются. Анна Семеновна занемогла — было не на шутку горячкой — но теперь понемногу оправляется хотя съ постели ещё не встаётъ.—

Бѣдный Каратѣевъ былъ у насъ наканунѣ выступленія въ походъ съ ополченіемъ — мы проводили его съ Шампанскимъ — и пожелали ему всѣхъ благъ. — Онъ былъ очень милъ — и коми-

чески-забавенъ, хотя и самому ему было грустно — и мы грустили о нёмъ. — Лаврова мнѣ не удалось увидѣть — но я знаю что онъ процвѣтаетъ.—

До меня дошли слухи что кому то изъ кружка Грановскаго дозволено издавать журналъ въ Москвѣ. — Правда ли это? —

Я свой романъ пока оставляю подъ спудомъ — въ немъ мнѣ многое не нравится — надо всё это передѣлать. Я написалъ большую повѣсть, первую повѣсть — говоря правду — надъ которой я трудился добросовѣстно — не знаю что вышло. — Я её читалъ Толстой — она ей понравилась — но это ещё не порука. Мнѣ все что то кажется, что собственно литературная моя карьера кончена. — Эта повѣсть рѣшитъ этотъ вопросъ. —

Я съ семействомъ Ольги Александровны возобновилъ переписку и на дняхъ получилъ отъ нея очень милое письмо. Они всѣ здоровы и въ половинѣ Сентября собираются возвратиться въ Петербургъ.

Я напрасно сказалъ — литературная каррьера — я хотѣлъ сказать каррьера беллетриста — потому что я надѣюсь умереть Литераторомъ и ни чѣмъ другимъ быть не желаю. —

Ну однако, прощайте. Жму Вамъ дружески руку, и желаю здоровья и веселья. — Передайте мой усердный поклонъ Вашей Матушкѣ. —

Преданный Вамъ
Ив. Тургеневъ.

Из переписки Тургенева с А. В. Дружининым — несомненно, довольно оживленной за все годы знакомства и совместной работы в журналах — до сих пор известны были в печати лишь шесть писем Тургенева, 1855—1857 годов («Первое собрание писем И. С. Тургенева», СПб. 1884).

Печатаемое нами письмо Тургенева от 20 августа 1855 г. служит ответом на неопубликованное еще письмо Дружинина от 28 июля 1855 г. из села Мариинского (автограф его — в Пушкинском Доме; все письма Дружинина готовятся к печати в сборнике, посвященном «Архиву И. С. Тургенева»); в нем Дружинин пишет: «Усерднѣйше благодарю Васъ, любезнѣйшій Тургеневъ, за письмецо ваше и за дружественный вашъ отзывъ о моихъ рецензіяхъ [т. е. о статьях, вызванных Анненковским изданием Пушкина]. Намъ рѣдко приходилось толковать съ вами объ основныхъ вопросахъ нашей литературы и въ разговорѣ я никогда не былъ въ состояніи передать своихъ мыслей вполнѣ, отъ неумѣнія говорить послѣдовательно и отъ того скверная качества ésprit de l'éscalier, которое заставляетъ насъ находить лучшіе аргументы только послѣ спора. Боткинъ передалъ мнѣ вашъ отзывъ ранѣе письма вашего ко мнѣ, и я ему крайне порадовался, совершенно уважая вашъ взглядъ на Гоголя, но не имѣя возможности вполнѣ съ нимъ согласиться. Разъяснивши главное дѣло, мнѣ теперь будетъ легко и пріятно поспорить съ вами о частностяхъ, когда мы сойдемся въ Петербургѣ при захрапахъ Анненкова распростертаго на диванѣ послѣ обѣда, и шипѣніи Некрасова»....

Эти письма — отражение спора о «Пушкинском» и «Гоголевском» направлениях в художественном творчестве — понимаемых, как объективно-

художественное, идеалистическое восприятие мира, чистая поэзия — и сатирически-субъективный взгляд на жизнь «натуральной школы», выявление ее отрицательных сторон. Спор, и теоретический и практический, как вопрос о пути русской литературы — обострился с 1855 года, когда одновременно появились — Анненковское издание Пушкина, 2-я часть «Мертвых Душ» и «Авторская Исповедь» (о ней говорит Тургенев), статьи Дружинина о Пушкине (в «Библиотеке для Чтения» 1855, III и IV), книга Чернышевского об «Эстетических отношениях искусства к действительности» и статьи Ап. Григорьева в «Москвитянине». Дружинин был крайним сторонником «чистой художественности» и отрицал значение Гоголя; Тургенев же защищал среднюю, синтетическую точку зрения, отразившуюся еще 25 лет спустя в его речи о Пушкине. Живое участие в споре принимал и Боткин, как видно из писем его к Дружинину этого времени (см. в Сборнике Литературного фонда «XXV лет», СПб. 1884, стр. 481—490).

Для самого Тургенева середина 1850-х годов явилась временем перелома и созревания таланта, исканий самого себя, выразившихся в попытках, сначала неудачных, написать роман, в повестях переходного характера, как «Затишье», наконец — в романе и повести, о которых говорится в нашем письме. Роман этот — «Рудин», написанный вчерне летом (а набросанный, вероятно, гораздо раньше) и позднее сильно переделанный, по совету друзей, для печатания в «Современнике». Повесть же — вероятно, «Фауст», которым Тургенев очень дорожил — первый опыт новеллы с большой психологической темой. В обоих этих произведениях заключался для Тургенева выход на широкую дорогу творчества, где соединялись в художественном синтезе Пушкинский лирический идеализм с реалистическими достижениями натуральной школы — освобождение от «старой манеры» и переход к новой.

Ряд статей Дружинина «Георгъ Краббъ и его произведенія» напечатан был в «Современнике» 1855—1856 годов (том LIV, №11 и 12; LV, № 1 и 2; LVI, № 3; LVII, № 5). Дружинин пишет о них (в том же письме к Тургеневу): «Я тружусь усиленно надъ Краббомъ и знаю что статья будетъ полезная, такъ какъ Краббъ не переведенъ ни на какой языкъ, то я не скуплюсь на выписки и въ нихъ полагаю главное достоинство труда». Об этой статье см. отзыв в «Библиотеке для Чтения» 1856 г. № 8, отд. VI, стр, 43—69, и в работе С. А. Венгерова — «Дружинин» (Собрание сочинений, том V, СПб. 1911, стр. 42). Георг Крабб (George Crabbe) — английский поэт конца XVIII века (1754—1832), реалист-сатирик, бытописатель деревни, один из ранних представителей «натуральной школы» выступивший против ложно-сентиментального жанра, господствовавшего тогда в Англии.

Семейство графа Толстого — гр. Мария Николаевна (сестра Льва Николаевича Толстого) и ее муж, гр. Валериан Петрович Толстой, недальние соседи Тургенева, у которых он любил бывать (см. частые упоминания в «Письмах» а также о знакомстве с ними в письме к Некрасову от 29 октября 1854 г. — «Русская Мысль» 1900, I, 120). Тургенев отвечает на слова Дружинина (в том же письме): «Кстати о Марьѣ Николаевнѣ, [«которая, говорит он выше, краситъ вамъ деревенскую жизнь»] — матушка сказываетъ, основываясь на опытѣ въ деревенскихъ обычаяхъ, что вся наша путешествующая компанія [т. е. гостившие у Тургенева Дружинин, Боткин и Григорович] нарушила всѣ законы приличія, не бывши у семейныхъ людей, которые къ вамъ ѣздили во время нашего тамъ пребыванія. Коснувшись этого вопроса, оправдайте насъ при случаѣ передъ Марьей Николаевной и Дельвигами, кажется, другихъ семейныхъ лицъ тутъ не было. Мнѣ очень горько было бы еслибъ мы подали поводъ, — въ награду за всю доброту и радушіе обвинять насъ въ чемъ бы то ни было».

«Мои всѣ» — семейство дяди И. С. — Николая Ник. Тургенева, управлявшего его имениями и жившего в это время в Спасском; Анна Семеновна — жена Ник. Ник.

Каратеев — сосед Тургенева, доставивший ему, после назначения — идти в Крым с ополчением,—свою рукопись, где Тургенев нашел первую мысль и схематический набросок для «Накануне» (о ней Тургенев упоминает еще в письме к Некрасову от 29 октября 1854 г. — «Русск. Мысль» 1902, I, 120—и подробно говорит в «Предисловии» к собранию романов, 1880 года; ср. в статье Н. Л. Бродского «Тургенев в работе над романом Накануне»— «Свиток», кн. I, М. 1922).

Журнал в Москве — «Русский Вестник», разрешенный М. Н. Каткову. См. письмо С. Т. Аксакова Тургеневу от 11 августа 1855 г. («Русское Обозрение» 1894, XI, стр. 27—28).

Ольга Александровна — Тургенева, впоследствии, по мужу, Сомова, дальняя родственница И. С., с которой он был очень дружен и думал даже о женитьбе на ней, но разошелся летом 1854 года (см. об этом в «Русском Обозрении» 1894, XI, 22—23, и «Вест. Евр.» 1884, II, 462 и 1894, II, стр. 486).

Сообщил *Н. Измайлов.*

4. ПИСЬМО ТУРГЕНЕВА К Н. В. ГЕРБЕЛЮ.

С. Спасское-Лутовиново
(Орловской губер. въ городъ Мценскъ)

Суббота, 8-го іюня 1874.

Любезный Николай Васильевичъ, проѣздомъ черезъ Москву я получилъ отъ Салаева Ваши три прекрасныхъ тома — и благодарю за память. Что касается до моего біографическаго очерка — то мнѣ — въ сущности — слѣдовало бы сдѣлать одно замѣчаніе: Вы слишкомъ лестно обо мнѣ отзываетесь, и въ особенности придаете слишкомъ большое значеніе моему поэтическому дару, котораго, по правдѣ говоря, у меня не было вовсе. — Неточностей въ замѣткѣ всего двѣ: у меня было два брата — а не одинъ. Младшій — Сергѣй по имени — скончался 16 лѣтъ. Профессоръ Краузе — вовсе не отличался настойчивостью; напротивъ: онъ позволялъ мнѣ дѣлать рѣшительно что я хотѣлъ — и Англійскому языку я началъ учиться раньше, чѣмъ попалъ къ нему. — Профессоръ греческой литературы въ Берлинѣ назывался Бёкъ (August Böck), а не Бокъ. — Просматривая остальные біографическіе очерки, я наткнулся на нѣсколько ошибокъ, которые считаю нужнымъ довести до Вашего свѣдѣнія. —

— Озерова звали Владиславомъ, а не Владиміромъ.

— Жуковскій переводилъ «Овсяный кисель» и другіе стихотворенія не изъ Гейбеля, современнаго нѣмецкаго поэта, а изъ Гебеля (Hebel) — швабскаго поэта, писавшего на швабскомъ діалектѣ.

— Огаревъ женился не на сестрѣ Сатина, а на сестрѣ жены Сатина, дѣвицѣ Тучковой.

— Не начальными буквами были подписаны статьи Добролюбова въ Современникѣ, а напротивъ — окончательными: — бовъ.

— Профессоръ латинскаго языка въ Университетѣ Петербург-

скомъ во время экзамена Некрасова назывался не Фрейгангъ — (то былъ цензоръ), а Фрейтагъ — и былъ родной братъ извѣстнаго кавказскаго генерала.

Но все это бездѣлицы, а изданіе Ваше очень хорошее и полезное и навѣрное будетъ имѣть большой успѣхъ, какъ всѣ вообще Ваши изданія.

Я остаюсь въ деревнѣ еще съ недѣлю — потомъ черезъ Москву и Петербургъ ѣду въ Карлсбадъ и оттуда въ Парижъ, а на зиму думаю вернуться въ Россію — и поработать. Надѣюсь тогда увидѣться съ Вами, а до тѣхъ поръ прошу Васъ принять увѣреніе въ совершенномъ моемъ уваженіи и преданности.

Ив. Тургеневъ.

Письмо это написано по поводу книги Н. В. Гербеля: «Христоматия для всех. Русские поэты в биографиях и образцах», С.-Пб. 1873г. В предисловии к составленной им книге Гербель просил всех сообщать ему свои замечания и поправки, чтобы он мог воспользоваться ими при следующем издании. Пользуясь случаем поблагодарить за переданные ему книги, И. С. Тургенев сделал в напечатанном выше письме несколько мелких поправок.

То место биографического очерка писателя, о котором он говорит: «Вы слишком лестно обо мне отзываетесь, и в особенности придаете слишком большое значение моему поэтическому дару», — у Гербеля звучит вовсе не так хвалебно. Перечислив стихотворения и поэмы Тургенева, составитель говорит следующее: «Хотя эти первые порывы молодого вдохновения, не признаваемые самим автором, ничего не могут прибавить к лаврам, увенчавшим Тургенева, как первого беллетриста нашего времени, тем не менее многие поэтические произведения его молодости отличаются большими достоинствами, и Белинский не даром так восторгался ими, как это можно заключить из отзывов его о поэме «Параша». Все указанные Тургеневым неточности, Гербель исправил во втором издании своей хрестоматии (1880 г.) за исключением одной — Озеров так и остался у него Владимиром. Имя Вёск'а, во втором издании было передано «Бек», а «настойчивость» директора Краузе — заменена «заботливостью».

Сообщил *В. В. Мияковский.*

5. ПИСЬМА ТУРГЕНЕВА К М. М. КОВАЛЕВСКОМУ.

С.-Петербургъ,
Европейская Гостинница.
№ 194
Пятница, 9 марта 79.

Любезнѣйшій Максимъ Максимовичь,

Мнѣ не удалось повидаться съ Вами передъ самымъ моимъ отъѣздомъ — а я было хотѣлъ попросить Васъ передать Г-ну Бобчеву [1]), что я не уѣду изъ Россіи не переславъ ему (на Вашъ

1) Стефан Бобчев (род. 1853 г.), Болгарский общественный деятель; в 1878—80 гг. был слушателем Московского Университета.

адресъ) того небольшаго предисловія [1]) къ переводу «Наканунѣ» — съ разсказомъ о Катрановѣ — которое я обѣщалъ. —

Остаюсь я здѣсь до будущей Субботы [2]) — такъ какъ, въ виду запроса въ публикѣ на билеты — меня уговорили участвовать ещё во 2-ъ чтеніи въ будущую Пятницу [3]). На слѣдующемъ листикѣ [4]) Вы найдете 2 надписи, вырѣзавъ которыя Вы потрудитесь съѣздить къ Маслову [5]) и взявъ у него 2 моихъ фотографіи изъ числа сдѣланныхъ Дьяговченкой [6]) распорядитесь наклеить, отдать и т. д.

Большое я сказалъ бы Вамъ спасибо если бы Вы потрудились прислать мнѣ сюда вчерашній и сегодняшній № «Русскихъ Вѣдомостей» и «Современныхъ Извѣстій». Въ Совр. Изв. моя рѣчь [7]) была напечатана съ нелѣпѣйшими опечатками. Мнѣ нечего Вамъ говорить, какія воспоминанія я унёсъ изъ Москвы! — Прошу Васъ передать всѣмъ пріятелямъ мой искренній привѣтъ и принять отъ меня самое дружеское shake-hands.

Преданный Вамъ
Ив. Тургеневъ.

---

1) Это предисловие нам неизвестно; «Наканунѣ» в переводе Бобчева на болгарский язык нам также не удалось разыскать. Материалом этого предисловия Тургенев, повидимому, воспользовался для «Предисловия» к собранию романов 1880 г., где рассказывается, со слов В. Каратеева, о прототипе Инсарова, Болгарском патриоте Катранове, который учился в Московском Университете, но курса не окончил. Незадолго до Восточной войны он отправился в Болгарию, чтобы принять участие в восстании против турок, но, не доехав до места назначения, умер в Венеции от чахотки. О нем вспоминает его земляк И. С. Иванов в статье «Болгарское ополчение в 1876—78 гг.» — «Русск. Стар.» 1890 г., LXVI, стр. 417; ср. выше, в письме к Дружинину.

2) В среду 21-го марта Тургенев выехал за границу.

3) 16-го марта Тургенев в зале Благородного Собрания участвует в чтениях в пользу Литературного Фонда; он читал «Бирюка» и, вместе с М. Г. Савиной, сцену из «Провинциалки».

4) Этот листик при автографе письма не сохранился.

5) Иван Ильич Маслов, Управляющий Московской Удельной Конторой, друг Тургенева; у него обыкновенно он останавливался во время своих приездов в Москву.

6) Известный Московский фотограф.

7) На обеде в Эрмитаже 6-го марта, данном Тургеневу его почитателями. Подлинный автограф речи тогда же передан был на хранение в Московский Университет.

Bougival
Les Frènes.
Châlet
(Seine et Oise)
Середа, 10-го сент. 79.

Любезнѣйшій Ковалевскій,

Я посѣтилъ вчера г. Гарриссона [1]) и познакомился съ его дѣйствительно прелестной женой. Они сегодня уѣзжаютъ въ Англію, и конечно Васъ увидятъ. — Впрочемъ я сейчасъ взглянулъ на дату Вашего письма — и увидѣлъ: 3-е Авг. Можетъ быть, Вы уже давно уѣхали — обратно въ Москву. На всякій случай пишу Вамъ, что я ухватился обѣими руками за Ваше предложеніе на счётъ памятника Гоголю — и немедленно отправлю письмо [2]) въ редакцію «Критическаго Обозрѣнія». — Черкните мнѣ слово, если это письмо попадетъ къ Вамъ въ руки ещё въ Англіи — а пока дружески жму Вашу руку и остаюсь

Преданный Вамъ
Ив. Тургеневъ.

Печатаемые письма Тургенева к М. М. Ковалевскому хранятся в Пушкинском Доме, куда были переданы Е. Н. Янжул в составе переписки ее мужа, академика И. И. Янжула, очень дружившего с Ковалевским. Первое из них полно отзвуками недавнего пребывания Тургенева в Москве (с 14-го февр. по 7-е марта 1879 г.); второе относится уже ко времени пребывания М. М. Ковалевского за границей. Встречам с Тургеневым в 1878—1880 г. посвящены известные «Воспоминания об И. С. Тургеневе», опубликованные М. М. Ковалевским в «Минувших Годах» 1908, кн. VIII.

Сообщила *З. Пушкарева.*

---

1) Фредерик Гарриссон (род. 1831 г.), английский писатель и политический деятель.

2) Письма этого в «Критическом Обозрении» не появлялось; свое обещание Тургенев повторил и в письме своем к С. А. Юрьеву от 2-го ноября (21-го октября) 1879 г. (В память С. А. Юрьева. Сборник, изданный друзьями покойного, М. 1890). Как видно из писем Тургенева, мысль о создании памятника Гоголю в Москве возникла в конце 1870 годов, но осуществилась только 30 лет спустя, — когда 26-го апреля 1909 г. последовало открытие памятника Гоголю в Москве, на Арбатской площади.

7. ПИСЬМО ТУРГЕНЕВА К В. М. ГАРШИНУ.

С. Спаское-Лутовиново.
(Орловской губ. г. Мценскъ),
Суббота, 14-го Іюня 1880.

Милостивый Государь
Всеволодъ Михайловичъ,

Я пишу къ Вамъ, хотя не имѣю удовольствія знать Васъ лично; но я узналъ, что Вы въ настоящее время нездоровы — и мнѣ хочется выразить Вамъ своё участіе и сочувствіе. — Я надѣялся познакомиться съ Вами въ Петербургѣ, чрезъ посредство Г. И. Успенскаго, но Вы тогда уже уѣхали оттуда. — Съ перваго Вашего появленія въ литературѣ — я обратилъ на Васъ вниманіе, какъ на несомнѣнный, оригинальный талантъ; я слѣдилъ за Вашей дѣятельностью — а Ваше послѣднее произведеніе (къ сожалѣнію неоконченное) —: «Война и Люди» — окончательно утвердило за Вами, въ моемъ мнѣніи, первое мѣсто между начинающими молодыми писателями. — Это же мнѣніе раздѣляетъ и Гр. Л. Н. Толстой, которому я давалъ прочесть «Войну и Людей». Мнѣ очень было бы жаль, еслибы Ваша болѣзнь помѣшала бы дальнѣйшему развитію Вашего таланта — и я надѣюсь, что она не будетъ продолжительна — и что, какъ только Вы поправитесь, Вы немедленно, съ удвоенными силами, приметесь за перо. Каждый старѣющій писатель, искренне любящій свое дѣло, радуется, когда онъ открываетъ себѣ наслѣдниковъ: Вы изъ ихъ числа. — Мнѣ также много говорила о Васъ Варвара Васильевна Лодыженская, съ которой я недавно познакомился, и которая также одарена замѣчательнымъ талантомъ. —

Мнѣ было бы весьма пріятно получить отъ Васъ вѣсточку: я бы привѣтствовалъ её какъ окончательное возвращеніе Ваше къ здоровью и дѣятельности. — Я уѣзжаю на дняхъ за границу; мой адрессъ до зимы (я зимой вернусь въ Петербургъ) — Парижъ rue de Douai 50. —

Примите дружеское пожатіе руки отъ литературнаго собрата и увѣреніе въ искреннемъ уваженіи

Вашего покорнаго слуги
Ив. Тургенева.

Настоящее письмо Тургенева — первое по времени в ряду других его писем к Всеволоду Гаршину († 1888); в печати оно еще не появлялось и лишь недавно случайно найдено вдовою писателя — Надеждою Михайловною — в одной из книг его би-

блиотеки и передано в Пушкинский Дом, в который ранее она уже передала весь архив своего мужа. Письмо относится к тому тяжелому в жизни Гаршина периоду, когда он заболел, в марте 1880 года, тягчайшим душевным недугом, последовательно побывал в трех психиатрических больницах — в Орле, Харькове (на «Сабуровой даче») и в Петербурге — в лечебнице А. Я. Фрея; в середине июня 1880 г., к которому относится письмо Тургенева, он был на «Сабуровой даче») — в таком душевном состоянии, что вряд-ли мог вникнуть в содержание того, что писал ему Тургенев. Не задолго перед тем Гаршин, в припадке болезни, странствуя по Тульской губернии, забрел и к Льву Толстому в Ясную Поляну и провел у него ночь в восторженной беседе и мечтаниях о том, как устроить счастье всего человечества... Его эпопея «Люди и Война» начала печататься в мартовской книжке «Русского Богатства» 1880 г. (где за месяц появился рассказ «Attalea princeps»), но продолжения ее так и не последовало... В. В. Лодыженская, о таланте которой с такою неумеренною похвалою отзывается Тургенев в письме к Гаршину, — не оправдала возлагавшихся на нее надежд и в литературе осталась совершенно неизвестною; Тургенев не раз ошибался в оценке литературных дарований начинающих писателей и писательниц, — и отзыв его о Лодыженской — лишний пример его чрезмерной снисходительности к молодым начинающим литераторам.

Сообщил *Б. Модзалевский.*

8. ЗАПИСКА ТУРГЕНЕВА К П. И. ВЕЙНБЕРГУ.

Парижъ
50, Rue de Douai
$^{27}/_{15}$-го Янв. 82.

Любезнѣйшій Вейнбергъ,

Я сейчасъ получилъ Вашу телеграмму — и спѣшу Вамъ отвѣтить, что ни разу не слыхавши Г-жу Леонову, и не имѣя объ ея талантѣ никакого представленія, я не могу, по совѣсти, подписаться подъ адрессъ, подносимый ей ея почитателями.

Примите увѣренія въ совершенномъ моемъ уваженіи.
Ив. Тургеневъ.

Записка Тургенева к П. И. Вейнбергу печатается с автографа, находящегося в Собрании П. Я. Дашкова в Пушкинском Доме. — Дарья Михайловна Леонова — известная петербургская оперная певица-контральто.

Сообщил *М. Клеман.*

9. ПИСЬМО М. Е. САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА КЪ ТУРГЕНЕВУ[1].

Петербургъ, 6 марта [1882 г.].

Многоуважаемый Иванъ Сергѣевичъ.

Я сдѣлалъ распоряженіе, чтобъ Вамъ послали 100 р., о которыхъ Вы мнѣ писали, для передачи автору присланнаго Вами сатирическаго очерка. Очеркъ этотъ я постараюсь помѣстить лѣтомъ, потому что его надо исправлять, а теперь у меня для этого нѣтъ времени. Лѣтомъ же я обыкновенно мѣсяца на три умолкаю, а въ Апрѣльской книжкѣ появится мое послѣднее письмо къ тетенькѣ. Усталъ ужасно. Да и ругаютъ меня какъ то совсѣмъ неестественно. Хорошо еще, что я не читаю газетъ и только въ «Московскихъ Вѣдомостяхъ» узнаю, что я безнравственный идіотъ. Каторжная моя жизнь. Вотъ Островскій такъ счастливецъ. Только лавры и розы обвиваютъ его чело, а съ тѣхъ поръ, какъ братъ его сдѣлался министромъ[2], онъ и самъ сталъ благообразнѣе. Лицо чистое, лучистое, обхожденіе мягкое, слова круглые, учтивые. На дняхъ, по случаю какого-то юбилея (онъ какъ то особенно часто юбилеи справляетъ) небольшая компанія (а въ томъ числѣ и я) пригласили его обѣдать[3], такъ всѣ удивились, какой онъ сдѣлался высокопоставленный. Сидитъ скромно, говоритъ благосклонно и понимаетъ, что заслужилъ, чтобы его чествовали. И ежели въ его присутствіи выражаются свободно, то не дѣлаетъ вида, что ему неловко, но лишь внутренно не одобряетъ. Словомъ сказать, словно во дворцѣ родился. Квасъ пересталъ пить, потому что производитъ вѣтра, а къ брату царедворцы ѣздятъ, и между прочимъ будущій министръ народнаго просвѣщенія, Тертій Филипповъ[4], который ныне тоже не п....., но моетъ ж... мыломъ казанскимъ, и все съ кн. Воронцовымъ-Дашковымъ[5] разговариваютъ. Хоть бы однимъ ушкомъ эти раз-

1) Автограф хранится в Рукописном отделении Российской Публичной Библиотеки.

2) Михаил Николаевич Островский (р. в 1827 г.), государственный деятель, с 1881 г. был Министром Государственных Имуществ.

3) Обед у Донона 2-го марта 1882 г.; кроме Островского и Салтыкова были: И. А. Гончаров, К. Д. Кавелин, М. М. Стасюлевич, А. Н. Пыпин (см. «Стасюлевич и его современники», т. II, стр. 159).

4) Тертий Иванович Филиппов, писатель-славянофил, был крупным чиновником.

5) Граф Иларион Иванович Воронцов-Дашков, в 1882 г. главный начальник охраны Александра III.

говоры подслушать. А Аспазія у нихъ Ѳеоктистиха [1]) и старая бандерша Евгенія Туръ [2]).

За этимъ обѣдомъ разговаривали: Валуевъ [3]) написалъ романъ («Лоринъ») да и боится: что, ежели обругаютъ! Пригласилъ къ себѣ Буренина [4]), поилъ чаемъ, и хорошими, но не самыми лучшими — сигарами угощалъ. Выпросилъ у него книжку стиховъ и подаритъ «Лорина». Буренинъ [.....] говоритъ: конечно, я долженъ теперь хвалить (и похвалилъ), но послѣ отыграюсь (и отыграется). Я собственно этого романа не читалъ, но говорятъ всѣ, что неслыханная пакость.

На обѣдѣ былъ между прочимъ И. А. Гончаровъ и тихо завидовалъ, что у него нѣтъ брата министра.

Винницкая [5]) прислала мнѣ повѣсть совсѣмъ не цензурную. Я боюсь, что она — сумасшедшая. Пишетъ, чтобъ я никому объ ней не говорилъ и адреса ея никому не сообщалъ. Не нимфоманка ли она? Вамъ я сообщаю ее новый адресъ: rue (нрзб.) hôtel d'Egypte. Но ради Бога не говорите, что отъ меня узнали. Я спрашивалъ ее, не нужно ли ей денегъ, и отвѣта не получилъ. Какъ бы она не утопилась или не повѣсилась. Я писалъ объ ней доктору Бѣлоголовому [6]) (rue des Beaux Arts, 4 bis), но и не радъ, что писалъ. Это такой кладъ, что рекомендовать его не безопасно.

До свиданія. Будете ли Вы въ Петербургѣ или отдумали? Я за границу нынче не ѣду. Нанимаемъ дачу въ Ораніенбаумѣ.

Весь Вашъ

М. Салтыковъ.

Сообщил *Н. В. Яковлев.*

1) Софья Александровна, рожд. Беклемишева, жена Евгения Михайловича Ѳеоктистова, с 1883 г. начальника Главного Управления по делам печати.

2) Псевдоним писательницы гр. Салиас-де-Турнемир, рожд. Сухово-Кобылиной.

3) Петр Александрович Валуев, известный государственный деятель.

4) Виктор Петрович Буренин, известный критик.

5) Винницкая-Будзианик, Александра Александровна (р. 28 июля 1847 г.), романистка.

6) Николай Андреевич Белоголовый, автор известных воспоминаний, друг Салтыкова.

КРИТИКА и БИБЛИОГРАФИЯ.

Из Puschkinian'ы за 1923—1925 годы.

Литература о Пушкине растет чрезвычайно. Даже в самые трудные для писателей и издателей годы — в первые годы революции—количество работ, посвященных Пушкину, было очень велико; отдельных книг почти не выходило — но не было общелитературного журнала, сборника, альманаха, не было газеты, где бы не встречались статьи и заметки о Пушкине; иные статьи попадали в самые неожиданные, специальные издания; сочинения Пушкина выходили брошюрами... и знают только пушкинисты-библиографы, как трудно, почти невозможно, регистрировать всю эту распыленную массу.

Времена изменились: с начала 1922 года стали выходить уже целые книги о Пушкине[1]); в 1923 году их число и объем увеличились — появились издания, и раскошные, и монументальные. 1924-ый год дал также несколько сборников и монографий и, наконец — чего не было уже пять лет — одно собрание сочинений Пушкина. Число журнальных статей не уменьшилось — но они в большинстве сосредоточились в немногих литературных журналах и сборниках. Все это облегчает задачу рецензента — технически, правда, потому что по существу разнохарактерная масса исследований не поддается никаким обобщениям. Объединенные лишь именем Пушкина, иные работы о нем полярно разнятся друг от друга: разнообразны их авторы — от представителей академической науки до публицистов и просто любителей, разнообразны и методы — вплоть до полного отсутствия

1) Вот список главнейших трудов, касающихся Пушкина, вышедших в 1922 году: «Пушкин и его современники», вып. XXXIII—XXXV (М. Л. Гофман: «Пропущенные строфы Евгения Онегина» и «Посмертные стихотворения Пушкина»); «Неизданный Пушкин» (собрание А. Ф. Онегина, труды Пушкинского Дома); «Гавриилиада» — ред. и исследование Б. В. Томашевского; «Домик в Коломне» — ред. и исследование М. Л. Гофмана; М. Л. Гофман — «Первая глава науки о Пушкине» (два издания); Н. К. Пиксанов — «Пушкинская студия»; Б. Л. Модзалевский — «Пушкин под тайным надзором»; М. О. Гершензон — «Гольфштрем»; В. М. Жирмунский — «В. Брюсов и наследие Пушкина»; Вл. Ходасевич — «Статьи о русской поэзии»; «Сборник Пушкинского Дома на 1923 год»; «Пушкинский сборник памяти С. А. Венгерова» (здесь на обложке — 1923; вышел в конце 1922 г.).

таковых. Ввести строгую систему трудно, поэтому приходится многое перечислять механически, а о многом — лишь упоминать.

Меньше всего, среди Пушкинианы — самого Пушкина, изданий его сочинений; научных нет вовсе, популярных вышло немного. В 1923 году выпущена была Госиздатом серия изданий отдельных произведений и частичных собраний стихотворений[1]), сверенных по первопечатным (прижизненным Пушкину) текстам и по рукописям; издания очень тщательные, ценные своей текстуальной точностью (в чем не уступают прекрасным изданиям «Народной Библиотеки» 1919—1920 гг.); по отсутствию вступительных статей и малому тиражу, их, однако, вряд ли можно назвать вполне популярными; они пригодны и каждому специалисту — но, к сожалению, в большинстве лишены текстологических комментариев; только к «Дубровскому» присоединены до сих пор неиспользованные планы повести, чрезвычайно интересные для изучения этого незаконченного трехтомного романа[2]), а к «Каменному Гостю» — варианты рукописи, полезные для изучения ненапечатанной при жизни Пушкина и испорченной издателями трагедии, и очень детальное сличение всех изданий ее — вряд ли нужное, по своему крайне специальному характеру, в такого типа книжке[3]).

Все эти отдельные издания покрываются вышедшим осенью 1924 года в той же редакции «юбилейным» однотомным собранием сочинений Пушкина[4]). Собрание далеко не полное: оно дает только художественные произведения, исключая всю критическую, историческую и мемуарную прозу. Но и то, что дано,— далеко не все, что дается обычно популярными изданиями, не говоря о «полных». Метод отбора указан в предисловии и в примечаниях. В издание вошло: все то, что Пушкин включил в собрания своих сочинений, выпущенные в 1829—1835 годах; то, чего Пушкин не мог печатать по цензурным соображениям («политические стихотворения»); то, что напечатано в отдельных журналах, альманахах и т. п. из написанного после 1825 года; то, чего Пушкин не напечатал при жизни (из последнего пе-

1) Поэмы 1821—1824; «Борис Годунов»; «Полтава»; «Повести Белкина»; «Каменный Гость»; «Барышня-крестьянка»; «Граф Нулин» и «Домик в Коломне»; Драматические сцены; «Дубровский»; Лирические стихотворения, часть I; Лирические стихотворения, часть II — все под редакцией Б. Томашевского и К. Халабаева, Госиздат, Петроград — Москва, 1923, по 3000 экземпляров.

2) См. статью Б. Томашевского: «Судьба Дубровского» — «Книга и Революция» 1923 г, № 11—12 (23—24).

3) См. статью того же автора: «Текст Каменного Гостя» в «Записках Передвижного Театра», № 51, 23 февраля 1923 г.

4) А. Пушкин. Сочинения. Гос. Изд-во. Ленинград 1924 (Печатается по изданиям, вышедшим при жизни Пушкина, и по автографам. Редакция Б. Томашевского и К. Халабаева), стр. XX+508. 10000 экз.

риода творчества), но что известно в беловых или почти беловых автографах; одним словом, соединены «исключительно художественные произведения Пушкина приблизительно в том составе, в каком поэт мыслил свое собрание в 30-х годах», почему «устранены все черновики, наброски, интимные послания, эпиграммы и проч., не предназначавшиеся к широкому распространению. Исключены все произведения, отвергнутые самим поэтом по эстетическим мотивам» (стр. XV). Принципиально с этим нельзя не согласиться: давно нужно было нам такое очищенное издание Пушкина, и идея его, в таком именно плане, выдвигалась уже пушкинистами. Но редактор не выдержал своего принципа, а, выйдя за пределы его, прибег во многом к произвольному выбору. «Преследуя задачи дать историческое представление о творчестве Пушкина, говорит он в предисловии, издание лишь в редких случаях обращается к произведениям, при жизни Пушкина не напечатанным» (стр. XV). Но именно исторический подход к поэту обязывает дать, хотя бы в приложении, многое такое, что, при жизни его, казалось интимным, не было закончено или не было напечатано по мотивам, от нас ускользающим; «эстетические мотивы» — основание шаткое, и ни на чем не основано утверждение, что не следует включать в издание «стихотворений, хотя бы и напечатанных в журналах и альманахах» до 1825 г., как «несомненно (?) отвергнутых Пушкиным по художественным соображениям» (стр. 484).

Лицейские стихотворения выпали из издания почти полностью, и это может быть оправдано соображением об особности их, как вступительного периода творчества Пушкина. Не вошел также и ряд посланий 1818—1828 гг., частью, действительно, интимных (Юрьеву — Любимец ветренных Лаис... 1818, Щербинину — Житье тому, любезный друг... 1819, Горчакову — Питомец мод, большого света друг... 1819, Дельвигу и Гнедичу — из писем 1821 года, Я. Н. Толстому — Горишь ли ты, лампада наша... 1822, Энгельгардту — 1828 и друг.), частью же не имеющих такого характера и даже печатавшихся при жизни Пушкина, хотя бы и без его желания (Орлову — О ты, который сочетал... 1819, в «Северной Звезде» 1829; Княгине Голицыной, ур. Суворовой — Давно о ней воспоминанье... 1823, в «Карманной книжке на 1830 год» Вал. Олина; Е. А. Тимашевой — Я видел вас... 1826, в «Радуге» 1830; Языкову — К тебе сбирался я давно... 1827, в «Северных Цветах» 1829; Пущину — Мой первый друг, мой друг бесценный... 1826 и др.); не вошли и некоторые другие стихотворения, напечатанные в журналах: «Ответ на вызов написать стихи в честь имп. Елизаветы Алексеевны», 1819 («Соревнователь просвещения и благотворения»), «Аквилон» 1824 — 1830 («Литературные прибавления к Русскому Инвалиду» 1837 г., № 1) — последнее, столь

долго лежавшее в рукописи по явно-цензурным условиям; «Циклоп» 1830 (Язык и ум теряя разом — см. Просвещение, т. II, 481; Венг., т. V, стр. L); некоторые стихотворения 1819—1825 гг. исключены по основаниям, не вполне для нас убедительным — как «эстетически» отвергнутые Пушкиным, — таковы «Платонизм» и «Мне бой знаком» (1819), «Наперсница волшебной старины» (1821), «Признание» (1824), «Последние цветы» (1825); другие — не могли печататься при жизни Пушкина («Свободы сеятель пустынной» 1823, «Ода графу Хвостову» 1825); наконец, целый ряд законченных и полузаконченных стихотворений 1825—1835 годов, сохранившиеся в автографах (иные—не дописанные до конца, но, в имеющейся части, представляющие почти беловые тексты) и несколько других, в автографах не сохранившиеся, должны быть включены в отделы, напечатанные на стр. 90—102; таковы: «Из Orlando Furioso» и «Н. С. Мордвинову» (Под хладом старости угрюмо угасал...;— оба 1825), «Ольга, крестница Киприды...» (1826 ?), «Есть роза дивная...» и «Кто знает край где небо блещет...» (оба — 1827), «Какая ночь! мороз трескучий...» (Опричник — 1828), «Воспоминания в Царском Селе» и «Напрасно видят тут ошибку...» (оба — 1829), «Румяный критик мой...», «Паж или 15-й год» (оба — 1830) «Альфонс садится на коня...» (1832), «Родриг» и «Французских рифмачей суровый судия...» (оба —1833?), «От меня вечор Леила», «Не розу Пафосскую...», «Когда Владыка Ассирийский...» (все — 1835?) и др. [1]). Всего можно насчитать до 45 стихотворений, включение которых в издание, не нарушая его основных принципов (кроме одного правила — касающегося стихотворений 1818—1825 гг.) — безусловно целесообразно и даже обязательно. Лучше обстоит дело, в отношении состава, с поэмами, драмами и прозой. Тексты их сверены вновь с рукописями и исправлены («Борис Годунов», «Каменный Гость»). Пропуск стихов 549—558 в «Бахчисарайском фонтане», опускавшихся Пушкиным во всех четырех изданиях поэмы и вставлявшихся всеми редакторами — несомненно правилен. Очень ценно установление правильной последовательности сцен в «Русалке», — последовательности, указанной в рукописи, и на которую редакторы (вплоть до С. А. Венгерова) не обращали внимания. Непонятным, однако, представляется исключение первой строфы в первой песне русалок («Веселой толпою...») и принятие второй редакции (из двух параллельных и равноценных) для средней строфы второй песни («Поздно, рощи потемнели» и т. д.). Текст «Медного Всадника» принят традиционный — по копии

1) Можно причислить к ним и два неотделанных, но важных стихотворения 1821 года: «К моей чернильнице» и послание В. Л. Давыдову («Меж тем, как генерал Орлов...»).

тетради Румянцевского Музея № 2376-Б., сверенной с автографом в тетради № 2376-В., и с введением всех позднейших исправлений Пушкина, «которые не могут быть объяснены желанием приспособить произведение к цензурным условиям» (стр. 490). Избран, таким образом, средний путь, отличный, как будет видно ниже, от пути другого редактора повести — П. Е. Щеголева. Большую заслугу редактора составляет новая, логически-правильная и неоспоримая, планировка текста «Истории села Горюхина», устраняющая много неразрешимых ранее недоумений. Несколько смело — хотя и согласно с принятой традицией — введение в основной текст «Египетских ночей» первого стихотворения импровизатора «Поэт идет — открыты вежды...», но вряд ли можно согласиться с традиционным текстом второй импровизации — «Клеопатры» 1824—1825 года («Чертог сиял. Гремели хором...»): правильнее, нам кажется, брать позднейшую редакцию — начинающуюся с прозы и напечатанную в «Неизданном Пушкине» (стр. 104—105); еще правильнее, не вводя в повесть никаких стихов, выделить и «Клеопатру», и «Поэт идет», как самостоятельные отрывки. Непонятен для читателя подзаголовок «План» к «Сценам из рыцарских времен»: вещь эта кажется совершенно законченной, и слово «план» становится ясным лишь при сравнении ее с программами сцен. Наконец, возбуждает недоумение напечатание из так наз. «Рославлева» лишь одного отрывка («Отрывок из записок дамы»), напечатанного самим Пушкиным; следуя такому же основанию, нужно было бы и из «Арапа Петра Великого» напечатать лишь отрывки глав III и IV, — однако же редактор поместил его (и справедливо) полностью. Состав этих отделов, как кажется, полон, но было бы полезно включить сюда и «Путешествие в Арзрум», как полу-художественное, полу-мемуарное произведение, изданное самим Пушкиным. Текста отдельных стихотворений мы не будем касаться — в общем, он достаточно точен. Сомнительны лишь некоторые датировки: напр. «Увы, зачем она блистает...» и «Кривцову» отнесены к 1819 году, т. е. так, как помечал их в печати сам Пушкин, тогда как в автографах они помечены — первое — 1820, второе — 1817, точно так же «Стансы» и «Соловей» отнесены, согласно печатному тексту, к 1827 г., а по автографам принадлежат 1826 г.; «К Вельможе» отнесено к 1830 году (под которым его помещал и Пушкин), тогда как дата автографа «23 апреля 1829». Все эти и подобные датировки следуют, в согласии с принципами расположения материала, датировкам Пушкинских прижизненных изданий; но полезно было, хотя бы в примечаниях, оговорить датировки автографов там, где они с печатными расходятся. «Покров, упитанный язвительною кровью» — перенесено в 1835 год, согласно неразборчивой помете на рукописи, обычно читаемой как «1825»; Анненков тоже читал ее, как «1835»

и считал позднейшей; Академический редактор решил, по недоразумению, что имеется второй автограф (Ак. IV, 183); новая датировка, как кажется, верна; на нее как будто указывает и напечатание стихотворения в «Современнике» 1836 г. (т. I), как новинки, не вошедшей в прежние собрания стихов. Отметим одну неточность в примечаниях: стихотворение «Три ключа» помечено, как неизвестное в автографе; между тем, снимок с автографа дан, в «Пушкине и его современниках», вып. XXVIII, стр. 2—3 (ту же ошибку делает и Академическое издание, т. IV, стр. 357—сравн. ib. стр. 365). В заключение, несколько слов о биографическом очерке. Для кого он написан? Издание, видимо, рассчитано на широкого читателя; но для него очерк дает слишком мало фактических и хронологических данных, мало библиографии (очень случайной), почти ничего не говорит и о (фактической) истории творчества; язык же биографии насыщен терминами и историко-литературными формулами, вряд ли понятными неподготовленному читателю, а для специалиста неинтересными по своей догматичности и краткости, при всей новизне и свежести некоторых утверждений.

Мы очень подробно остановились на издании, но оно — настолько важное — и принципиально, и практически — явление, что требует детального рассмотрения. Принцип его, несомненно, правилен. Введение опущенных сейчас стихотворений при повторении издания, сделает его каноническим (для своего типа) на многие годы [1]).

Из других изданий отдельных произведений должны быть особо отмечены две книги, выпущенные Комитетом Популяризации Художественных Изданий при Р. Академии Истории Материальной Культуры: «Медный Всадник» с рисунками А. Н. Бенуа (Пбг. 1923) и «Цыганы» с рисунками Л. Майделя (Пбг. 1924). Оба издания превосходны по внешности; старинные рисунки Майделя (о котором дана и исчерпывающая статья Б. Л. Модзалевского) и современные иллюстрации сепией Ал. Бенуа проникновенно освещают поэмы Пушкина (хотя рисунки к «Медному Всаднику», выполненные давно, частью помещавшиеся в издании С. А. Венгерова и в «Аполлоне» и теперь обновленные и переделанные, — в первой редакции были выдержаннее, проще и цельнее [2]). Для специалиста-пушкиниста — издание «Цыган» не представляет особого интереса. Но текст «Медного Всадника», приготовленный (еще в 1917 году) П. Е. Щеголевым и снабженный обстоятельным исследованием — интересен чрезвычайно. Перед нами — новый, незнакомый нам «Медный Всадник», очи-

1) Вышедшее в 1925 г. второе издание не имеет, однако, почти никаких дополнений против первого.

2) Ср. рецензию Л. Розенталя в «Печати и Революции» 1923 г., кн. 5.

щенный от исправлений и искажений — не только Жуковского, не только позднейших редакторов, но и... самого Пушкина. В основу текста принята П. Е. Щеголевым беловая рукопись повести (автограф), поданная Пушкиным Николаю I и высочайшей цензурой просмотренная (ныне в тетради 2376-В Румянцевского Музея) — и отвергнут обычный, до сих пор принятый текст, т. е. позднейшая писарская копия, исправленная сначала Пушкиным, потом Жуковским, в тетради 2376-Б. Отвергнуты, следовательно, многие исправления самого Пушкина. Некоторые из них — цензурного характера; отказ от них нынешнего редактора понятен и бесспорен. Но другие — чисто художественные, стилистические, и отвержение их кажется очень произвольным. Многие исправления не доведены до конца—говорит П. Е. Щеголев. Быть может; но и исследование П. Е. Щеголева не решает вопроса и не всегда убедительно; выше мы отметили, что последнее издание повести не приняло редакции П. Е. Щеголева и вернулось к старому тексту, очищенному лишь от поправок Жуковского и исправлений явно-цензурных. Вопрос о тексте «Медного Всадника» — этого величайшего, совершеннейшего создания Пушкина—один из темных вопросов Пушкиноведения, и требует нового, полного, детального исследования, нового изучения всех рукописей: только тогда станет он ясен.

Два капитальных издания посвящены в 1923 году одному и тому же тексту — «Дневнику» Пушкина. Одно вышло в Петербурге, под редакцией Б. Л. Модзалевского, другое — через несколько месяцев — в Москве, под редакцией целой комиссии, с М. Н. Сперанским и В. Ф. Саводником во главе[1]). Совпадение во времени, конечно, случайное: Московское издание готовилось с 1920 года, Петербурское же было задумано и выполнено еще раньше и лишь печатание его затянулось. Дневник Пушкина, в отрывках известный давно, полностью напечатан впервые, как известно, в V томе издания под ред. С. А. Венгерова, по авторитетной копии, приготовленной для Академического издания. С той же копии, тщательно сверенной с подлинником, напечатал его теперь Б. Л. Модзалевский — и сверка его издания с Московским, Музейным, сделанным непосредственно с автографа, показывает, что разночтения их очень невелики: в издании Б. Л. Модзалевского неверно прочитано одно слово («... la voir à bonne santé...» — должно быть «en bonne santé» — 8 апреля 1834), пропущено другое («гербы наши все весьма новы... — 18 декабря 1834), есть ошибки в отдельных

1) «Дневник Пушкина. 1833—1835». Под редакцией и с объяснительными примечаниями Б. Л. Модзалевского, и со статьею П. Е. Щеголева. ГИЗ. М.-Пгр. 1923, стр. XXVI + 276. — «Дневник А. С. Пушкина». Труды Государственного Румянцевского Музея. Выпук I. ГИЗ. М.-Пгр. 1923, стр. VIII + 578, с 9 снимками с рукописи.

буквах и в пунктуации, да неправильно разбита на стихи эпитафия гр. Кочубею (стр. 20). Но и Московское издание, сделанное с автографа, несвободно от ошибок и пропусков; так, на стр. 35 вм. Rowt надо Rout; на стр. 36 вм. у С. Салтыкова надо у В. С. Салтыкова, на стр. 45, напеч. «je suis heureuse, j'ai des soeurs» — нужно читать, конечно «j'ai des succès» — иначе теряется смысл; неразобрано и опущено название крепости (стр. 42), непрочитанное и Б. Л. Модзалевским и, по приложенному снимку, действительно непонятное (но в автографе, конечно, более ясное?); есть мелкие ошибки пунктуации и орфографии и проч. Все это показывает, как трудно достичь идеала — даже работая над такой легкой, совершенно беловой рукописью, как автограф «Дневника», вовсе не нуждавшейся в сложнейшем, тяжелом эдиционном аппарате, данном в Московском издании (сличение всех изданий построчно, множество снимков, полистное и построчное деления и проч.). Главный интерес обоих изданий — не в тексте как таковом, но в комментариях, занимающих место, во много раз бо́льшее самого текста.

До сих пор дневник издавался без комментариев, или почти без них. А между тем он становится понятен только при толковании каждого слова. Дневник Пушкина — не лирическое раздумье о пережитом, и не связный рассказ о своей жизни, это — лишь краткий конспект виденного и слышанного, часто без отношения к автору, запись намеками для памяти — словом, программа будущих мемуаров, область которых — придворный, светский, правительственный и отчасти литературный Петербург. Программа сухая и лаконическая — как лаконичен умеет быть в своей прозе только Пушкин — и лишь изредка проскальзывает сквозь ее схематичность тщательно сдерживаемое живое чувство и настроение автора-поэта. Историк литературы найдет в этих записях немного непосредственно-данного материала (помимо психолого-биографического). Но для историка-общественника и бытописателя дневник полон драгоценнейших черт — и дело комментатора осветить и оживить краткие, темные намеки. Последней цели в полной мере удовлетворяют комментарии Б. Л. Модзалевского (в Ленинградском издании «Дневника»). Составленные в самом лаконическом, даже сухом стиле, они дают колоссальный материал — исторический, бытовой, био- и библиографический. Особенно важен последний: бесчисленные ссылки на специальные и мало-известные источники, на журнальные и мемуарные материалы дают возможность исследователю углублять по желанию тот или иной вопрос, а выписки — вполне его освещают для читателя. Комментатор не стремится к широким историческим экскурсам и держится все время в рамках «Дневника». Он дает не общие характеристики (для читателя-специалиста ненужные), но множество фактических сведений, по-

черпнутых из мемуаров и переписки, относящихся преимущественно к эпохе «Дневника» — 1830-м годам, сведений иногда мелких, но типических и характерных. Не все вопросы ему удается вполне разъяснить, и кое-что придется еще дополнять — но издание останется надолго основным пособием для изучения Дневника Пушкина и его эпохи.

Несколько иного типа комментарий в издании Румянцевского Музея (составленный В. Ф. Саводником и М. Н. Сперанским). Использован тот же, по роду, материал, что и Б. Л. Модзалевским, почему комментарии их часто совпадают — те же цитаты и те же ссылки. Но материал Московского издания значительно меньше — в смысле количества использованных источников и даваемых фактических и библиографических указаний; зато много общих характеристик и историко-литературных и биографических экскурсов — обращающихся в целые исследования об отношениях Пушкина, на всем протяжении его деятельности, к ряду лиц — Жуковскому, Вяземскому, Карамзиным, Булгарину, Гречу, Воронцову и т. д. По существу они вносят немного нового, лишь суммируют имеющийся материал, повторяя общие места о влиянии Жуковского на Пушкина-лицеиста и т. п. — вряд ли имеющие прямое отношение к Дневнику и его эпохе. Кроме того, преобладание изложения комментатора над выписками из свидетельств современников лишает комментарий значения источника, что́ так ценно в издании Б. Л. Модзалевского. Многие имена, события светской жизни, исторические анекдоты — в Московском издании вовсе не разъяснены (княгиня С. и граф В. — стр. 44, Бутакова — стр. 38, граф Л., Кос... — стр. 50 и др.) и лишь в дополнении использованы для них комментарии издания Б. Л. Модзалевского. Иные имена пояснены явно-ошибочно—напр. игроки Мартынов и Никитин (стр. 149—150), правильно истолкованные Б. Л. Модзалевским (стр. 49—51 его издания); ошибочен и комментарий к имени Сухозанета (стр. 107—111). Все это мелочи — но из мелочей составлен весь Дневник и каждая имеет свое значение. Наконец, нужно отметить, что Московское издание, выполненное с большою роскошью и размахом, дает и совершенно ненужные вещи: биографическую канву для Пушкина, извлеченную только из Дневника (важнее было бы дать общую канву его жизни за эти два года) и построчное сличение всех (неполных!) изданий его — где не упомянуто лишь одно издание Б. Л. Модзалевского, хотя имелась к тому полная возможность, на что указывают заимствования из него, сделанные в конце примечаний; вещь, во всяком случае, странная. В итоге каждому исследователю придется гораздо чаще обращаться к Петербургскому изданию, чем к Московскому; но оба вместе полезны и дополняют друг друга.

Из новых для Пушкиноведения автографов Пушкина и

материалов о нем, опубликованных за эти два года, нужно отметить, прежде всего, ряд писем, обогащающих значительно известную нам переписку. Это — юношеские строки в письме Лицейских товарищей к исполнявшему должность директора Лицея С. С. Фролову (1817)[1]); интереснейшее письмо к Дельвигу, 1827 г. — один из характернейших памятников блестящего эпистолярного стиля Пушкина[2]); дружеская записка к князю Вяземскому, 1829 г.[3]); письмо к французскому посланнику Баранту о русских законах, касающихся литературной собственности, 1836 г.[4]); Письмо к И. Е. Великопольскому, от 1826г.[5]); письмо к Пушкину неизвестной дамы и письмо к Н. Н. Пушкиной — от кн. В. Ф. Одоевского по поводу издания «Современника»[6]). Ряд текстуальных публикаций и описаний рукописей мы имеем в последнем вышедшем, XXXVI-м, выпуске «Пушкина и его современников»; среди них особенно интересны: заметки Пушкина о статьях Кюхельбекера, до сих пор печатавшиеся в неточной редакции Анненкова, под назв. «О вдохновении и восторге»[7]); четверостишие Пушкина к шуточному стихотворению Ден. Давыдова[8]); записка Пушкина, ходатайствующая об опальном Мицкевиче[9]). Далее, ряд неизданных текстов дали журналы «Атеней»[10]) и «Русский Современник»[11]). В первом — шуточное четверостишие, обращенное к гр. Е. П. Потемкиной; несколько заметок исторического и критического характера; критическое «Письмо к издателю» «Современника», подписанное А. Б. и до сих пор не включавшееся в число статей Пушкина; теперь совершенно убедительно доказано, что статья несомненно принадлежит Пушкину; она дает новый важный материал для суждения об отношении Пушкина к критической работе Гоголя

1) «Литературные портфели», вып. I, Пбг. 1923, стр. 19—25, изд. «Атеней» (с примечаниями Б. Л. Модзалевского).

2) Там же, стр. 80 — 85, с примечаниями Б. Л. Модзалевского.

3) «Государственный Румянцевский Музей. Путеводитель». I. Библиотека, М. 1923, стр. 235 — 237.

4) «Недра», книга 3-я, М. 1924, стр. 171 — 177, с примечаниями М. Л. Гофмана. Это письмо — ответ на письмо Баранта к Пушкину, от 23/11 декабря 1836 года, (Переписка, III, 24).

5) «Былое» 1924 г., № 25, стр. 8 — 11, с примечаниями Н. О. Лернера.

6) «Искусство», № 1. М. 1923, стр. 311 и сл., с примечаниями И. Л. Поливанова; заметим, что здесь же напечатано стихотворение Пушкина «Товарищам» (1817), яко бы по новому автографу; но из приложенного снимка ясно, что это — не автограф, но копия, рукою И. И. Пущина.

7) Статья В. И. Срезневского, стр. 34 — 41.

8) Статья Н. О. Лернера, стр. 21 — 25.

9) Статья Б. Л. Модзалевского, стр. 26 — 33.

10) «Атеней», историко-литературный временник. Кн. I—II, Лгр. 1924, стр. 5 — 24, с примечаниями Б. Л. Модзалевского, Н. К. Козмина и Ю. Г. Оксмана.

11) «Русский Современник». Лит.-Худ. журнал, кн. 2, Лгр. 1924, стр. 192—193.

в том же «Современнике» и о его взгляде на современную журналистику вообще. Заметим, что одновременно с публикацией Ю. Г. Оксмана в «Атенее», напечатана и старая (1916 года) работа В. П. Красногорского [1]) о той же статье, пытающаяся также обосновать ее принадлежность Пушкину — отныне несомненную. В «Русском Современнике» Б. Л. Модзалевский напечатал заметку Пушкина о Стерне; в «Былом» [2]) Н. О. Лернер поместил известный ранее лишь по упоминаниям рисунок Пушкина, изображающий Рылеева и Кюхельбекера на Сенатской площади 14 декабря 1825 г. В «Жизни искусства» [3]) Б. В. Томашевский напечатал (со снимком с автографа) новой текст эпиграммы Пушкина «Ты хочешь ли узнать моя драгая».

Переходя к исследованиям о жизне и творчестве Пушкина, нужно отметить, что за эти два года вышло свыше 15 отдельных книг — монографий, компиляций и сборников. В отношении биографии поэта упомянем популярные справочные издания, не претендующие быть самостоятельными исследованиями, но дающие, кроме фактических сведений, библиографию Пушкиноведения. Таковы юбилейные издания: Пушкинского Дома — «Пушкин. Очерк жизни и творчества» (июнь 1924) и Лгр. Губполитпросвета — «Памятка о Пушкине» (к столетию ссылки в Михайловское — сентябрь 1924 г.). Диллетанской компиляцией нескольких источников, без метода, системы и цели, является (юбилейная также) книжка А. К. Гладкого «Новое о Пушкине» (Псков, 1924) [4]). О многочисленных газетных и журнальных статьях, вызванных двумя юбилеями Пушкина — говорить не приходится: это — или популярные очерки, повторяющие общие места, или — тенденциозно-агитационные статьи, искажающие облик поэта, в лучшем случае — дающие выдержки из его «революционных» стихотворений.

К биографическим работам, касающимся Пушкина, принадлежит книжка Б. Л. Модзалевского «Анна Петрова Керн» [5]), где, естественно, отводится место и отношениям к ней поэта, его письмам и стихотворениям. Ничего особенно-нового в этом вопросе книжка не дает — да это и не ее цель. Мало неизвестного и в книжке: «Новые материалы о дуэли и смерти Пушкина» [6]).

1) «Наш Труд» 1924 г., № 2.
2) 1924 г., № 25, стр. 3 — 8.
3) 1924 г., № 1.
4) Столь же дурную компиляцию, как книжка Гладкого, представляет собою брошюра А. Гаррис «Уголок Пушкина». М. 1923 — безграмотный путеводитель по Пушкинским местам Псковской губ. — К справочным же изданиям нужно отнести описание Пушкинских коллекций (автографов, портретов, вещей, книг и пр.) в книге «Пушкинский Дом. Исторический очерк и путеводитель», Лгр. 1924.
5) Серия «Друзья Пушкина». I. Изд. Сабашниковых, Лгр. 1924, стр. 141.
6) Труды Пушкинского Дома, изд. «Атеней», Пбг. 1924, стр. 137.

Статья Б. Л. Модзалевского, доказывающая, что вероятным виновником посылки анонимных писем Пушкину, в ноябре 1836 г., был князь П. В. Долгоруков — собирает большой обвинительный материал о нем, как о безнравственном и дурном человеке вообще — но не доказывает его авторства; автор письма остается нам неизвестен. Ю. Г. Оксман разрушает легенду о письме Николая I к Пушкину во время его болезни и указывает, что слова императора к поэту были включены в письмо к Арендту — что очень вероятно, но мало меняет дело по существу; документы, публикуемые М. А. Цявловским, ничего почти нового в себе не заключают, а прекрасное воспроизведение условий дуэли (текст которых не разнится от уже известного) — лишь показывает, как мало можно полагаться даже на самую точную публикацию: в печатной транскрипции условий (стр. 88) шесть ошибок, в том числе — пропущено одно слово и вставлено два лишних. Очень интересна в сборнике — маленькая заметка Б. В. Томашевского, доказывающая, путем графического анализа, что анонимные письма к Пушкину не могли быть написаны иностранцем (как думал поэт), но непременно русским [1]).

Вышедшая осенью 1923 года книга П. К. Губера «Дон-Жуанский список Пушкина»[2]) обратила на себя внимание и пушкинистов, и читающей публики — внимание, быстро однако ослабевшее: публика предпочитает выдуманные романы — романам действительным, хотя бы и обработанным в виде книги для легкого чтения и приправленным интересными соображениями о темпераменте Пушкина и о применяемых им методах флирта; специалистам же книга ничего не дает, и они не будут к ней обращаться. Компиляция давно известных источников — переписки, мемуаров, ходячих анекдотов — «иллюстрированная» стихотворениями Пушкина (служащими здесь, как и в других подобных биографических трудах, лишь комментарием к событиям жизни поэта) — могла бы остаться для Пушкиноведения безразличной, если бы автор не выступил и как исследователь, опровергающий гипотезу П. Е. Щеголева о предмете «утаенной любви» — М. Н. Раевской-Волконской, вместо которой он выдвигает гр. Н. В. Кочубей-Строганову. Доказательство строится путем толкования стихотворений и литературных имен, вроде «Дориды» и «Эльвины», смелых обобщений и еще более смелых догадок о том, где и когда могла бывать Н. В. Кочубей (но

1) К биографическим работам относится также статья Э. Ф. Голлербаха «Пушкин в портретах» («Русское Прошлое», кн. 4, 1923), основанная почти всецело на материалах Пушкинского Дома, но дающая мало нового в сравнении со старой работой С. Ф. Либровича.

2) «Дон-Жуанский список Пушкина. Главы из биографии», Пбг. 1923, стр. 279.

где могла и не бывать?). Тезис остается не доказанным, а у читателя возникает лишь вопрос — зачем нужно было вообще его ставить?

Тем же бесплодным вопросом о другой утаенной любви поэта отчасти занимается и интересная книга Вл. Ходасевича «Поэтическое хозяйство Пушкина»[1]). Очень натянуто и, кажется, фактически неверно[2]) объясняет она «Русалку» и некоторые другие поэтические признания Пушкина, как отзвуки его романа с крестьянской девушкой во время Михайловской ссылки. Эта тема лишь побочно, однако, примыкает к книге: основное ее содержание—исследование «самоповторений» (автореминисценций) в творчестве Пушкина, т. е. устойчивых, возвращающихся образов, эпитетов, обращений и т. п., переходящих из одного стихотворения в другое, из письма в стихи и обратно. Собран значительный и любопытный материал (и мог бы быть значительно увеличен), но истолкован чисто-психологически: тождество или близость образов означает, по мнению Ходасевича, тождество психических состояний поэта, и отсюда — тождество событий, лежащих в основе произведений, и лиц, к которым они обращены. Это ведет часто к рискованным приурочиваниям — а между тем, такие самоповторения следовало бы объяснять не психологически, а технически — как элементы стиля, неизбежно возвращающиеся при одинаковых поэтических построениях, или даже составляющие часть «стилистического среднего» Пушкинской эпохи, и как своеобразную поэтическую «экономику» всякого автора (не только Пушкина), дорожащего раз найденным образом или приемом и переносящего его иногда даже механически. Расширение материала, не охваченного вполне Вл. Ходасевичем (привлечение крупных произведений в стихах и прозы Пушкина), должно выяснить интересный вопрос, в постановке Вл. Ходасевича лишь напрасно затемненный.

Вообще, психология творчества Пушкина — теперь модный вопрос. О ней пишут много — часто упрощенно и наивно, иногда — философски-глубокомысленно. Ни предмета, ни пределов, ни методов изучения ее не выработано — и в этом смысле «психология творчества» представляет благодарную почву для диллетантизма. Самый яркий его образчик — книжка И. Д. Ермакова «Этюды по психологии творчества Пушкина»[3]), курьезное произведение, звучащее скорее пародией, чем серьезной работой,

---

1) Лгр. 1924, стр. 156; было и заграничное издание, которого мы не видели.

2) См. рецензию Б. В. Томашевского в «Русском Современнике» 1924 г., № 3.

3) « Опыт органического понимания «Домика в Коломне», «Пророка» и маленьких трагедий», ГИЗ, Москва — Пгр. 1923, стр. 192.

хотя бы и любительской. И. Д. Ермаков видит в творчестве Пушкина лишь какую-то наивную, примитивную символику (самому исследователю кажущуюся очень глубокомысленной), сбивающуюся на грубую игру аллегориями, представляющими каламбуры, годные для помещения в сборник А. Крученых [1]): название «Домик в Коломне» — «домик (т. е. будущий семейный дом, о котором думал Пушкин осенью 1830 года) колóм мне [пришелся]»; кухарка Мавра — намек на арапского предка поэта; стих Александрийский — стих Александра, т. е. самого Пушкина. Это — из одного разбора «Домика в Коломне»! а такие каламбуры тянутся на протяжении всей книжки.

К работам философско-психологического направления принадлежит ряд статей покойного М. О. Гершензона [2]), как всегда — интересно, красиво, но парадоксально написанных. В них он продолжает задания «Мудрости Пушкина» (1919) и «Гольфштрема» (1922) — исследование «тяжелой мудрости тысячелетий», смотрящей из глаз поэта-мудреца, и его «уверенного знания о тайнах». Но путь несколько иной — не связанный тесно с биографией, как в статьях «Мудрости», но принятый в книге «Гольфштрем» — чисто отвлеченный, опирающийся лишь на творчество поэта, на цитаты из него вне всякой исторической перспективы. Игра цитатами и толкование их — дело заманчивое, но опасное: оно может далеко завести — и часто к нежелательным для автора выводам. В крайне-парадоксальной книге «Гольфштрем» автор, извлечением многих десятков и сотен цитат, куда входят понятия огненности, горения и потухания, эфирности и окаменения, полета и неподвижности — доказывал общность мировоззрения (огненно-динамического) Пушкина с Гераклитом Эфесским. Теперь в статье «Пушкин и Батюшков» он находит и у последнего ту же «огненную» образность, только ослабленную. Ясно, кажется, что дело идет не об общности философской системы, но о некоторых общих явлениях стиля, где играют роль и творческий темперамент, и поэтическая школа, и традиция; исследование ряда других поэтов, очень разных направлений, той же и позднейшей эпох — Козлова, Веневитинова, Боратынского, Полежаева, Лермонтова, Тютчева и пр. — несомненно обнаружит у всех в большей или меньшей степени ту же «огненную» лексику и эпитетологию. Некоторые, однако, наблюдения Гершензона над творчеством Пушкина (о реальности для

1) «500 новых острот и каламбуров Пушкина» собрал А. Крученых. М. 1924, стр. 71. Говорить об этой книжке подробно не стоит; см. рецензию на нее Б. В. Томашевского в «Русском Современнике», 1924, кн. 3.

2) «Два очерка о Пушкине: 1. Чтение Пушкина. 2. Явь и сон», «Вопросы теории и психологии творчества», ред. Б. Лезина, т. VIII, Харьков. 1923. — «Тень Пушкина», «Искусство» № 1, М. 1923. — «Пушкин и Батюшков» — «Атеней», кн. I—II, 1924.

него явлений загробного мира, конкретности теней, о значении снов) несомненно очень интересны — только если их перевести из шатких областей психологии творчества в область формально-литературную; интересны и материалы о «пламенных» образах поэта — если не делать из них философской системы [1]).

Переходим к трудам историко-литературного содержания в собственном смысле. Группировать их вполне строго, объединять методологически — очень трудно и приходится держаться порядка несколько механического.

Вышедшая в 1923 г. книга Л. П. Гроссмана «Этюды о Пушкине» — образец блестящего, остроумного éssai, где критическая легкость соединяется с строгой научностью — рассматривает три вопроса в поэтике Пушкина. Первый этюд посвящен «дендизму» — явлению, игравшему крупную роль в культурной жизни на Западе в конце XVIII и начале XIX века, и разработанного в литературе теоретически и практически (в особенности Стендалем). Пушкин глубоко воспринял принципы дендизма, сам был представителем его в России, и изобразил русского денди в образе Евгения Онегина, дав и само-пародию на него в «Графе Нулине». Таков один из общих западных источников Пушкинского романа — источник, имеющий важное значение не только для Пушкина [2]). Вопрос, однако, требует дальнейшей разработки, с перенесением его из области историко-культурной в область специфически-литературных влияний.

Два других этюда в книге Л. Гроссмана касаются проблем Пушкинской прозы. Первый — «Искусство анекдота у Пушкина» — указывает на анекдот, в том широком и серьезном значении, какое имел этот термин в XVIII веке, как на литературный жанр, оказавший на Пушкина большое влияние. Автор увлекается — нельзя делать анекдот основным элементом всей прозы Пушкина — но указываемая связь последней с западной традицией очевидна и очень важна: еще одна нить, помимо легкой поэзии, связывает Пушкина с классическим XVIII веком. О тех же, и еще более ранних, традициях, говорит третий этюд — «Устная новелла Пушкина». Анализируя рассказ Нащокина о романе

1) Вопросов психологии творчества касаются еще некоторые другие работы: брошюра Вл. Узина «О повестях Белкина» (перепечатка его же статей из «Жизни Искусства» 1923 г.), которую сближает с работами М. О. Гершензона увлечение исканием в повестях Пушкина скрытого трагического смысла; впрочем, работа вполне диллетантская, что подчеркивает и подзаголовок «Из заметок читателя»; статьи В. Вересаева в «Красной Нови» 1923 года (№ 5) «К психологии Пушкинского творчества (в связи с вопросом о датировке элегии на смерть Амалии Ризнич)» и др.

2) На один частный источник для Онегина — шуточную поэму Вольтера «Le Mondain», влиявшую на композицию I главы романа — указывает статья В. И. Резанова в «Пушкине и его современниках», вып. XXXVI — «К вопросу о влиянии Вольтера на Пушкина».

Пушкина с гр. Фикельмон, записанный Бартеневым и напечатанный М. А. Цявловским [1]), исследователь приходит к выводу, что (судя по стилю и композиции) автором рассказа является сам Пушкин, рассказ же вполне соответствует традиционным формам любовной новеллы, выработанным еще в эпоху Декамерона и расцветшим особенно ярко во французской литературе XVIII века. Ряд сопоставлений очень убедителен. Напрасно, быть может, вести родословие Пушкинской новеллы прямо от Декамерона — можно найти близкие и, несомненно, более знакомые Пушкину французские корни. Но важен самый метод, освещающий новым смыслом неприятный и ненужный в своих подробностях эпизод биографии Пушкина, важно и установление новых связей его с традициями литературного Запада [2]).

Пушкинская проза, как очень сложная, очень важная, равноправная поэзии сторона его творчества, на которую не обращалось ранее достаточного внимания, занимает теперь все более исследователей. Принципиально и методологически поставил его Б. М. Эйхенбаум в двух статьях: «Проблемы поэтики Пушкина» [3]) и «Путь Пушкина к прозе» [4]). Исследователь сжато, но выпукло и убедительно показывает, что русская поэзия, достигшая к 20 годам XIX века высшего своего расцвета, изживала сама себя; дальнейшее развитие ее, на тех же путях, стало невозможно; обнаружился перелом, намечавший необходимость обращения к прозе. Пушкин ясно это сознавал — и не он один, но все близкие к нему литераторы; вся его деятельность, со второй половины 1820-х годов, журнальная и чисто литературная, есть борьба за прозу, а проза создавалась на основе его же стиха — на том же материале, что и стихотворные повести, притом с определенно-сюжетными заданиями; в этом корень формальных особенностей ее и причина, почему Пушкинская проза не создала традиций. — Обе статьи — в особенности о «проблемах поэтики Пушкина» — чисто декларативны: каждое положение может быть развернуто в целое исследование; вместе с тем, они коротко намечают путь творческого развития Пушкина, и методы его изучения — на фоне традиций XVIII века и в связи с неудовлетво-

1) «Голос Минувшего» 1922, № 2, октябрь.

2) Об отношениях Пушкина к русскому XVIII веку (к его сентиментальному направлению) говорит статья «Радищев и Пушкин (в связи с вопросом об историко-литературном и общественном значении Радищева)» в книге В. П. Семенникова «Радищев», Пгр. 1923. Впрочем, она касается столько же политической идеологии Пушкина, как и его литературных отношений.

3) «Сквозь литературу» сборник статей. Лгр. 1924; ранее — в сборнике Дома Литераторов «Пушкин — Достоевский», Пбг. 1921.

4) «Пушкинский сборник памяти С. А. Венгерова, Пгр. 1922; говорим об этих, в сущности не входящих в рассматриваемый период, статьях, как о принципиально очень важных.

ренностью поэта достижениями стиховой речи и с исканиями новых путей.

Цельный обзор всей прозы Пушкина попытался дать Н. О. Лернер в книжке, представляющей переработку статьи из «Истории русской литературы XIX века»[1]). Задача оказалась невыполнимой при таком малом объеме: характеристики отдельных родов прозы и отдельных произведений, куда вошли и журнальные статьи, и исторические и авто-биографические труды, и письма — чрезвычайно кратки и поверхностны, состоят из общих мест или повторяют старые утверждения публицистической критики, едва терпимые и в 1908 году, но совершенно устарелые в 1923-м. Введение же, не делающее принципиального различия между прозой художественной, публицистической и эпистолярной — очень сбивчиво и неясно, хотя пытается охарактеризовать прозаический язык поэта. Интересно лишь одно наблюдение: трудность для Пушкина выработки точного, научного прозаического языка и частые его обращения к помощи французского (в статьях, планах и заметках) — чего, однако, нельзя распространять на язык художественных произведений.

В области изучения Пушкинского стиха за рассматриваемые два года не вышло ни одного цельного, монографического труда: время для них еще не наступило. Пока можно указать лишь несколько журнальных, преимущественно, статей, трактующих отдельные вопросы стихосложения Пушкина, или комментирующие отдельные стихотворения с точки зрения тематики, композиции, рифм, языка, образности и проч. Несколько мелких заметок содержатся в «Пушкине и его современниках», вып. XXXVI; еще несколько — в Пушкинском сборнике памяти С. А. Венгерова, вышедшем в конце 1922 года. Остановимся на статьях Л. В. Щербы и покойного В. Я. Брюсова.

Интересная статья Л. В. Щербы[2]) посвящена истолкованию текста стихотворения «Воспоминание» (1828 г.). Истолкование дается в пределах, непосредственно указанных текстом, вне всяких историко-сравнительных и, тем более, биографических рамок. Такое ограничение темы намеренно и объясняется задачей работы — «научить читать» стихи слушателей литературных семинариев; но это делает ее несколько субъективной, в значительной мере обусловленной впечатлением читателя, воспринимающего стихотворение. Статья делится на: 1) оправдание чтения, т. е. истолкование смысла ударений, делаемых при чтении,

1) Н. О. Лернер. Проза Пушкина. Изд. 2, Пгр. — М. 1923, стр. 112.

2) Опыты лингвистического толкования стихотворений. I. «Воспоминание» Пушкина. — «Русская Речь», сборники статей, под ред. Л. В. Щербы, I, Пгр. 1923.

модуляций голоса и значения отдельных слов и отдельных стихов, вызывающих некоторую эмоцию читателя и требующих соответствующего выражения; 2) замечания по ритмике — наименее разработанный отдел, где лишь некоторые случайные замечания, с которыми часто нельзя согласиться (напр. enjambement стиха 11 — 12, звучащее, как переход от ямба к хорею — что вряд ли возможно в русской метрике); 3) замечания по фонетике, также мало разработанные в отношении мелодики и инструментовки, но с интересными замечаниями о выразительной силе большего или меньшего скопления неударных слогов во фразе, и 4) замечания по морфологии, синтаксису и словарю, дополняющие отдел первый, часто очень тонкие и интересные. Вся статья представляется удачной попыткой дать метод к пониманию и первоначальному изучению стихотворения (как материал для историко-литературного построения) — более, пожалуй, удачная, чем аналогичная, но осложненная, ближе стоящая к теории словесности, чем к лингвистике, работа В. М. Жирмунского в статье о «Задачах поэтики» [1]).

Две статьи Валерия Брюсова «Звукопись Пушкина» и «Левизна Пушкина в рифмах» [2]) продолжают его прежние работы о стихотворной технике поэта. Первая отправляется от справедливой и важной мысли — о сознательности, преднамеренности и закономерности звуковых сочетаний у Пушкина. Но под звукописью В. Брюсов понимает, очень суживая свою тему, лишь различные формы аллитераций (повторов); он почти не затрагивает более сложные вопросы звуковой инструментовки и оставляет не выясненною связь между звукописью — и ритмикою и синтаксисом. При этом очень мешает излюбленная В. Брюсовым дробная номенклатура, обилие схоластических терминов, закрепляющих ярлычками отдельные случаи, не сводя их к принципиальным основаниям; и даже обилие примеров не сообщает убедительности статье — так примеры случайны и субъективны. Другая статья (последняя предсмертная работа исследователя о Пушкине) посвящена доказательству того, что Пушкинская рифма не является рифмой классической, так как ее составляют согласование не только ударного и послеударных звуков (а опорного лишь иногда — как в классической рифме), но и звуков предударных и — почти всегда — опорного. Многочисленные примеры в статье показывают, однако, лишь обилие у Пушкина глубоких, поглощающих и тавтологических рифм, и еще раз иллюстрируют некоторые явления аллитерации. Того, что делало бы рифму Пушкина не-классической (по вы-

1) Журнал «Начала» 1921, № 1. То же в сбронике: «Задачи и методы изучения искусств», II. 1924.

2) «Печать и Революция» 1923, № 2 и 1924, № 2.

ражению Брюсова — левой) — ослабление и разрушение рифмических согласований в окончаниях (послеударных слогах) и перенос основы рифмы с согласных на гласные — у Пушкина нет, и его рифма не только не отступает от классического канона, но еще усугубляет его, усиливая и расширяя точность созвучий.

Одно из самых значительных явлений минувшего года в области Пушкиноведения есть, несомненно, книга В. М. Жирмунского «Байрон и Пушкин» [1]). Диссертации, избирающие темой монографическую разработку одного вопроса Пушкиноведения — и прежде были редки, а диссертаций по поэтике Пушкина не было вовсе. Большой заслугой В. М. Жирмунского является точное отграничение и чисто историко-литературное определение понятия влияния вообще и байронизма в частности. Отстраняя всякое изучение влияния, как культурного, идеологического воздействия, вызывающего общность в настроениях и в «чувстве жизни» — В. М. Жирмунский ставит вопрос в плоскость теоретико-поэтическую, исследуя воздействие в области сюжетов, композиции и образности, и опирается при этом на восприятие современников-критиков, для которых байронизм был живым, текущим явлением. Такая постановка значительно уясняет исследование, хотя нельзя не признать, что влияние байронизма идеологическое и даже чисто-политическое было не меньше влияния литературного. Детальное сличение «восточных» поэм Байрона с «южными» поэмами Пушкина дает ясную картину поэтического воздействия английского поэта и обнаруживает ряд общих приемов, дающих материал для гораздо более определенных суждений о сущности байронизма, чем до сих пор изучавшиеся настроения и идеи. Отзывы современной Пушкину критики подтверждают построения Жирмунского (хотя, опять таки, нужно помнить, что литературное влияние было единственною стороною байронизма, о которой можно было тогда писать открыто). Но эта, основная часть книги, страдает существенным недостатком, значительно ослабляющим ценность исследования: байронизм Пушкина берется не как исторический процесс, протекающий в сложной обстановке традиций и иных влияний, но как однажды установленное, замкнутое в себе явление. Автор лишь вскользь (и то в примечаниях) касается важного вопроса о том, когда изучал Пушкин английский язык, и как он читал Байрона, и оставляет его открытым; а между тем, сличает ранние поэмы Пушкина («Кавказского пленника») с подлинным, английским Байроном, которого Пушкин вряд ли мог читать в 1820—21 годах, а знал

1) Байрон и Пушкин. Из истории романтической поэмы, Лгр. 1924, стр. 332.

во французском (прозаическом!) переводе. Байрон подлинный и Байрон переведенный прозою — два разных писателя, и с этим необходимо считаться. Далее, В. М. Жирмунский намеренно упрощает проблему, извлекая Пушкина 1820 года из того сложного окружения литературных традиций и влияний, в котором он воспитывался и на которое падало новое влияние — байроническое. Автор отмечает ослабленность — с самого начала — байронических приемов у Пушкина, и постепенный его отход от байронизма: но эти явления остаются неясными, если забыть о классических традициях Пушкина и о его постоянном тяготении к классицизму, не позволявшем ему никогда вполне принимать требования байронической поэтики и скоро заставившем его отойти от байронизма. Упрощение проблемы Пушкинского байронизма у В. М. Жирмунского сказывается еще и в том, что автор берет лишь южные поэмы Пушкина — и «Полтаву», как позднейший, последний отзвук байронических мотивов. «Евгений Онегин», «Граф Нулин», «Домик в Коломне» — остаются вне рассмотрения, и, таким образом, выпадает другой элемент байронизма — шутливая и сатирическая поэма — способствовавший более всего разрушению байронической поэмы «южного» типа и переходу от нее к повести, откуда естественный выход — к созданию прозаического повествования. Проблема во всей полноте остается, таким образом, нерешенной — но то, что сделано, войдет ценным вкладом в науку о Пушкине. Особенно же важно — исчерпывающее, громадное собрание материала по русской байронической поэме у подражателей и эпигонов Пушкина, изученное исследователем во второй части труда. «Массовая продукция», средняя линия эпохи, проходящая много ниже зачинателей и вождей, приобретает все бóльшее значение для историка литературы, не довольствующегося характеристикою «вершин». Правда, не все подражатели достойны того внимания, какое им уделяет В. М. Жирмунский в ущерб исторической перспективе и их значению. Но эта масса введена отныне в науку и показана так, что ни один исследователь русской поэзии 1820—1830 годов вообще — не обойдется теперь без книги В. М. Жирмунского.

Одним из последних и самых крупных изданий 1924 года является сборник Пушкинской Комиссии Московского Общества Любителей Российской Словесности [1]), куда вошли статьи и работы 9-ти Московских Пушкинистов. Из них — с грустью приходится это напомнить — двоих уже нет в живых: В. Я. Брюсова и М. О. Гершензона.

---

1) Пушкин. Сборник первый, редакция Н. К. Пиксанова. ГИЗ. Москва, 1924, стр. VIII + 344 + 32.

Н. К. Пиксанов в статье «Пушкин и Общество Любителей Российской Словесности» рассматривает отношения поэта к Обществу при его жизни и последующие (до наших дней) труды Общества по изданию, изучению и увековечению памяти Пушкина. Обстоятельная хроника дает критические отзывы о многих старых работах по Пушкину и в этом — большая ее ценность.

Основательно, широко и спокойно написанная статья П. Н. Сакулина «Памятник нерукотворный» — вновь ставит вопрос о смысле Пушкинского «Памятника». Крайне субъективный взгляд М. О. Гершензона подвергается значительному ограничению, но разрушается также (хотя прямо об этом не говорится) и «гражданское» толкование, выдвигавшееся С. А. Венгеровым.

М. О. Гершензон в «Снах Пушкина» дал несколько интересных замечаний о поэтике сновидения, но, к сожалению, отяготил работу обычным своим психологизмом, перенося формальные особенности поэтической концепции Пушкина на сокровенные, субстанциальные основы его психической организации, прозреваемые сквозь оболочку творчества интуицией исследователя.

Работа В. Я. Брюсова «Пушкин — мастер» представляет скорее программу, чем исследование, так много затрагивает она важнейших, разнородных вопросов; в ней поэтому, на ряду с тонкими и интересными замечаниями, ценными, как отправные пункты для изучения Пушкина — много утверждений догматических и декларативных.

Исследование Л. П. Гроссмана об «Онегинской строфе» — едва ли не первая у нас работа о романе, дающая анализ его в формальном плане — строфику, стилистику и композицию. Не все достаточно разработано. Иное (напр. мелодический анализ одной строфы на стр. 146—148) черезчур лирически-субъективно, многие утверждения слишком беглы. Основной же недостаток построения, ведущий к слишком спешным обобщениям — это признание романа однокачественным целым от I главы до VIII — тогда как «Онегин» эволюционировал по мере того, как рос и менялся Пушкин — поэт, и приемы и стиль последней главы — вовсе не те, что в I-й; но анализ этой творческой эволюции романа, в связи с эволюцией лирики в 1823 — 1831 гг. — представляет особую тему, еще не затронутую в литературе.

Статья М. А. Цявловского о «Текстах Гавриилиады» вносит несколько существеннейших дополнений и поправок в работу Б. В. Томашевского — не разрешая, конечно, вопроса о «каноническом» тексте поэмы — вряд ли разрешимого.

Работа Н. Ф. Бельчикова: «Пушкин и Гнедич. История послания 1832 г.» — представляет едва ли не самое научно-ценное в сборнике, как установление нового текста и введение в научный оборот новых рукописей Пушкина. Статья дает историю текста и истолкование загадочного стихотворения «С Гомером долго ты

беседовал один...», по вновь найденной рукописи Государственного Архива. Реконструкция творческой истории стихотворения вполне подтверждается приложенными снимками. К сожалению, отсутствие снимка с карандашного автографа Румянцевского Музея не дает возможности судить о верности предлагаемого Н. Ф. Бельчиковым окончательного текста (в составе двух строф, см. стр. 210—212). Автор очень нерешительно и как-то вскользь высказывается по этому важнейшему вопросу, оставляя его открытым. Нам кажется, что две строфы, записанные в рукописи Румянцевского Музея — лишь начало отделки стихотворения, не законченной Пушкиным, и потому позволительно, при выработке окончательного текста, соединять эти две строфы с дальнейшими, по автографу Государственного Архива, как это и сделали первые редакторы. Но, во избежание такой контаминации двух текстов, осторожнее, быть может, считать стихотворение (как оно и есть) вовсе не отделанным и при издании помещать отдельно оба текста — Гос. Архива и Рум. Музея — как равноправные. Некоторое сомнение вызывает также датировка стихотворения апрелем 1832 г. Проще, быть может, датировать его 1830-м годом — временем, близким к выходу Илиады, к статье о ней в «Литерат. Газете» и проч.

Ряд недоумений возбуждает последняя статья — В. В. Баранова: «Сонет «Мадонна» в новой редакции». Автор как будто смешивает два автографа: в альбоме Бартенева, датированный 30 августа 1830 г., и в собрании К. Р., еще не опубликованный и датированный, действительно, 8 июля. Последний представляет первую и самую раннюю редакцию, отличную от трех остальных — печатной, Бартеневской и ново-открытой. Тексты альбомных записей, делавшихся Пушкиным на память, очень интересны, как творческие варианты оригинала, но никак не авторитетнее печатного, дважды, притом, повторенного текста; соображения о цензуре здесь не имеют оснований. Приходится очень жалеть об отсутствии снимка — а без него определенное суждение невозможно.

Помещенная в книге обширная (более 100 страниц) хроника представляет широкую картину Пушкинских изучений. Особенно ценно в ней приводимое содержание прочитанных, но не напечатанных докладов, с изложением прений — незаменимый справочник для всякого Пушкиниста.

Как приложение к книге дано начало описания 2364-й тетради Румянцевского Музея и предисловие ко всему описанию, составленные Н. Н. Фатовым. Нужно бы горячо приветствовать это полезнейшее, ценнейшее начинание. Но то, что мы видим, только дразнит и разочаровывает читателя: крышки переплета, снаружи и снутри, филигрань бумаги, титульные листы — все в снимках и в описании — и только один 1-й лист (даже без оборота) самой

тетради! Транскрибируя все тетради, — на сколько десятков томов придется растянуть издание? и нужна ли транскрипция, на ряду со снимком таких беловых, без помарок, текстов, как «Послание Лиде»? Принципы и графика транскрибирования, заявленные в предисловии, повидимому, вполне удачны. Но судить о них пока нет возможности.

Закончим на этом обзор Пушкинианы. Недостаток места не позволяет остановиться на нескольких других интересных работах 1923 — 1924 гг. и заставляет только упомянуть о книгах по Пушкину и крупнейших статьях, появившихся в 1925 году. Из первых назовем статьи: Г. И. Чулкова «Пушкин и театр» содержащую интересные мысли о подлинной «театральности» Пушкина[1]); статьи, интересные своеобразием метода (Н. Н. Кузнецова с одной стороны[2]), М. А. Петровского — с другой[3]), или вводимым новым и малоизученным материалом (Л. П. Гроссмана[4]), Абр. Эфроса[5]).

Из числа работ о Пушкине, вышедших в 1925-м году, назовем: книгу Б. В. Томашевского — «Пушкин. Современные проблемы историко-литературного изучения». Лгр. 1925 (методологические вопросы издания, исследования, биографии, интерпретации Пушкина; критика существующих приемов; частные, очень важные, исследования, о статьях Пушкина в «Литературной Газете» и о списках стихотворений Пушкина); Б. Л. Модзалевского — «Пушкин под тайным надзором» Лгр. 1925 (3-е, дополненное издание работы, впервые напечатанной в 1918 г.); «Рассказы о Пушкине, записанные со слов его друзей П. И. Бартеневым», под ред. М. А. Цявловского, М. 1925 (освещающая ряд частностей в жизни и творчестве Пушкина, подтверждая многое, ранее известное по слуху); статью М. А. Цявловского — «В. Брюсов, как пушкинист» в сборнике памяти В. Брюсова, М. 1925, — и другие, о которых даже упомянуть нет возможности — так раззросся наш краткий очерк[6]).

Н. Измайлов.

Декабрь 192[illegible] — июль 1925.

1) Г. И. Чулков. Пушкин и театр. «Голос Минувшего» 1923, № 3.

2) Н. Н. Кузнецов. Вечерняя звезда в одном стихотворении Пушкина. «Мироведение» (Известия р. общества любителей мироведения) 1923 г., т. XII, № 1 (44).

3) М. А. Петровский. Композиция «Выстрела». «Поэтика», сборник статей под ред. В. Брюсова, М. 1924.

4) Л. П. Гроссман, Пушкин и Андрэ Шенье — «Свиток» III, М. 1924.

5) Абр. Эфрос. — «Рисунки Пушкина», «Русский Современник» 1924, № 2; там же — Вл. Ходасевич — «Амур и Гименей».

6) Мы не имели возможности видеть и описать очень многих заграничных изданий — сочинений Пушкина, журнальных статей и отдельных книг. Из последних упомянем: «Очерки по поэтике Пушкина» (статьи Б. Томашевского, И. Богатырева, В. Шкловского). Берлин 1923; В. А. Мякотин — «Пушкин и декабристы», Прага — Берлин. 1923 и др.

На полях историко-литературных изданий.

1. К ИСТОРИИ ОПУБЛИКОВАНИЯ «ЭНЕИДЫ» И. П. КОТЛЯРЕВСКОГО.

Комментируя в «Литературных Портфелях» (Петербург. 1923, I, стр. 36—42) вновь найденное письмо И. П. Котляревского от 27 дек. 1821 г. к Н. И. Гнедичу, А. И. Лящeнко подвел некоторые итоги тому, что доселе было известно о неудачных попытках выпуска в свет полного издания украинской «Энеиды» при жизни ее автора. Однако, давно назревшую проверку показаний своих предшественников почтенный исследователь счел, очевидно, излишней и, положившись на старый печатный материал, не разобрался ни в его пробелах, ни в противоречиях. В самом деле, как согласовать датировку двух последних частей «Энеиды», установленную таким авторитетным биографом И. П. Котляревского, как С. Стеблин-Каменский — «около 1824—25 года» («Полтав. Губерн. Вед.», 1866, № 47. Ср. «Киев. Стар.» 1891, LXII, прилож., стр. 5) — с позднейшими осторожными соображениями В. И. Срезневского — «до 1820 г., как видно из письма Мельгунова 1820 г. о предложении Московского издателя издать полную Энеиду» («Русск. Биогр. Слов.», Кнаппе-Кюхельбекер, С.-Пб. 1903, стр. 333). В какой мере основательна ссылка последнего на посредничество Н. А. Мельгунова в деле издания «Энеиды» в 1820 г., если самый труд Котляревского в это время еще далеко не был закончен (ср. письмо от 27 XII 1821 г. в «Литер. Портф.», в котором так свежи впечатления от только что оконченной пятой части, а о шестой говорится лишь, как в будущей), если юный Мельгунов пребывал еще в стенах Петербургского Университетского Пансиона (ср. А. И. Кирпичников, «Оч. по ист. нов. рус. лит.», т. II, М. 1903, стр. 154—155) и не только не мог тогда явиться посредником между автором «Энеиды» и Московскими издателями, но и самое знакомство с И. П. Котляревским, как известно, завязал не ранее 1827 г. (ср. Н. П. Барсуков, «Жизнь и труды М. П. Погодина», II, 107). Путешествуя с образовательной целью по Украине, Н. А. Мельгунов оставил интереснейший отчет о своих встречах и впечатлениях в письме от 7 августа 1827 г. к М. П. Погодину. Принято думать, что письмо это воспроизведено Н. Барсуковым во втором томе известного его труда (стр. 106—110); однако, наше обращение к автографу, хранящемуся в Московском Румянцовском

Музее среди бумаг М. П. Погодина (Тетрадь № 3515, л. 396—398), позволило обнаружить, что необычайно для расцветающей украинской общественности и литературы ценные показания такого вдумчивого наблюдателя, каким явился в 1827 г. Н. А. Мельгунов, опубликованы были далеко не полностью и при том в крайне извращенном виде. Первоисточник позволяет, например, восстановить следующие страницы, проливающие яркий свет на начальные планы опубликования «Энеиды»:

«Рассказ странствия моего приближает меня к Полтавской губернии. Вот средоточие, цвет Малороссии. Я повторяю и повторять буду, что кто не был в Полтавской губернии, тот не может иметь полного понятия о Малороссии. В полной мере сожалею, что не мог посвятить месяца, — месяцев этому краю; посвятив ему столь мало времени (не более недели), не знаю, в состоянии ли буду составить об нем что либо полное. По крайней мере я его видел, — видел одну из лучших частей его; пособия других дополнят для меня, хотя слабо, ускользнувшее от моего внимания. Частию уже имею, частию же ожидаю сии пособия от некоторых знакомых мне молодых людей, между прочим и от известного Котляревского в Полтаве, относительно языка и обычаев малороссийских. — А propos, он просил меня предложить книгопродавцам Московским, не пожелают ли купить полную его перелицованную Энеиду, на одно издание, или в вечное, потомственное владение. В последнем случае он несколько дорожится, хотя при дальнейшей сделке верно и уступит: он хочет около 20.000. Но право на одно издание с полным заводом 1.200 экз. может быть очень выгодно для издателя. До сих пор изданы только три первых песни; четвертая была однажды напечатана самим автором, но ее уже более нет в продаже; остальные же две песни вовсе им еще не изданы. Поэма им доведена до конца; к ней присовокуплен Словарь М. Р. слов и речений, встречаемых в оной; за все ето он просит 2000 рублей. Если положить за каждый экземпляр по 5 руб., что умеренно, ибо все 6 песней могут составить 2 порядочных тома in 8°, то всетаки может очиститься издателю около 4000 руб., включая расходы тиснения, которые значительны быть не могут, ибо, если употребить средней величины шрифты, то вся поэма с словарем может поместиться на 20—22-х листах, судя по последнему изданию етой поэмы, 1809 года. Здесь в М. Р. найдется много на нее охотников: Малороссияне читают ее всегда с новым, особенным удовольствием, а прибавление двух, или можно сказать трех еще неизвестных песней, возбудить в них новое любопытство, — и успех с етой стороны верен. Я равно уверен, что и всякой просвещенный Россиянин не останется равнодумным к единственному произведению М. Российской словесности, памятнику языка, принадлежащего народу, некогда славному, и который вместе с ним

вероятно скоро исчезнет вовсе и будет жить в одном етом памятнике. Издание етой поэмы, и издание рачительное, классическое — было бы благим делом, и потому, по моему мнению, стоило бы хлопот и стараний, — к тому же еще при жизни автора, который по национальной лености предоставил оное, как видно, на произвол судьбы. Поговорите ка обо всем етом с Селивановским: он может прямо отнестись к Ивану Петровичу Котляревскому в Полтаву, или через меня, по возвращении моем в Москву».

Встреча Н. А. Мельгунова с И. П. Котляревским в июне 1827 г. (письмо писано полтора месяца спустя) позволяет, таким образом, фиксировать совершенно точно время и характер обращения автора «Энеиды» к русским издателям. Одним из позднейших отзвуков этого свидания явилось и внесшее столько недоразумений в специальную литературу об Энеиде письмо Н. А. Мельгунова к И. П. Котляревскому от 12 июня 1828 г.: «Скоро свершится год, как я в последний раз имел удовольствие быть у Вас в Полтаве, и получить лестный для меня подарок — Ваш экземпляр Энеиды. С тех пор я несколько раз осведомлялся и справлялся у здешних книготорговцев, не пожелают ли купить Энеиду Вашу с прибавлением 2-х последних песней, и какую назначат за нее цену. Но многие от нее вовсе отказывались, говоря, что сия книга мало найдет себе охотников в России, что не иначе, как в М. России следовало бы издать ее; другие давали 800 и 1000 руб. Из числа последних Ширяев. Г-н Полевой, издатель Москов. Телеграфа, брался напечатать ее на свой щет, с тем, чтобы ему по выручке возвращен был употребленный на то капитал и с законными процентами. Многие брали ее на комиссию, но ни один решительно не согласился дать и половинной цены той, которую Вы назначили». Предлагая еще «отнестись к СПбургским книгопродавцам», Мельгунов не скрывал своих опасений, что и ими условия Котляревского едва ли будут приняты и, с своей стороны, рекомендовал обращение к издателям Харьковским, ибо «новое издание Вашей Энеиды ожидают с жадностию в М. России; тому я имею многие доказательства».

Второе письмо Н. А. Мельгунова, отрывки из которого мы только что привели, в значительнейшей части своей опубликовано было В. Горленком в «Киевск. Стар.» 1883, V, 151, но самая дата его, как выяснил П. П. Филиппович, сверив по нашей просьбе печатный текст с автографом, хранящимся в Публичной Библиотеке, оказалась разобранной не правильно: произвольно поставленный в «Киевск. Старине» — 1820 г. вместо 1828 явился вторым источником ложных заключений о хронологии поэмы всех позднейших биографов И. П. Котляревского и исследователей его «Энеиды».

Ю. Оксман.

2. ОТЗВУКИ «ВЕРТЕРА» В ТВОРЧЕСТВЕ ЛЕРМОНТОВА

Кроме известного стихотворения Лермонтова «Горные вершины...» (1840 г.), озаглавленного им «Из Гете» и представляющего свободный перевод стихотворения Гете: «Wanderers Nachtlied», есть у Лермонтова еще стихотворение под заглавием: «Завещание» (1831 г.), которое также обозачено им: «Из Гете». Это стихотворение Лермонтова менее известно, и я приведу его

ЗАВЕЩАНИЕ.

Из Гете.

1.

Есть место: близ тропы глухой,
В лесу пустынном, средь поляны,
Где вьются вечером туманы,
Осеребренные луной...
Мой друг, ты знаешь ту поляну;
Там труп мой хладный ты зарой,
Когда дышать я перестану.

2.

Могиле той не откажи
Ни в чем, последуя закону:
Поставь над нею крест из клену
И дикий камень положи.
Когда гроза тот лес встревожит,
Мой крест пришельца привлечет,
И добрый человек, быть может,
На диком камне отдохнет.

Немецкий подлинник этого стихотворения до сих пор никем еще не был найден,[1] так что в некоторых изданиях сочинений Лермонтова, даже снабженных, вообще, подробными и обстоятельными примечаниями (напр., в издании Академии Наук—1911 г.— и в издании под редакцией Каллаша — 1914 г.), стихотворение «Завещание» стало уже появляться без обозначения «Из Гете», хотя так помечено в рукописи Лермонтова. Очевидно, редакторы сочинений Лермонтова не могли объяснить этой авторской пометки. Дело в том, что у Гете, действительно, нет стихотворения, которое могло бы служить оригиналом для стихотворения Лермонтова: «Завещание». Но «Завещание» Лермонтова есть вольный пересказ в стихах отрывка *прозы* Гете, именно последней

1) См. об этом нашу заметку в изд. «Сирена», Воронеж, 30 янв. 1919 г., № 4—5.

просьбы Вертера в предсмертном его письме к Лотте из романа «Страдания молодого Вертера». Таким образом, стихотворение Лермонтова есть, собственно «Завещание Вертера»: «Особой запиской прошу твоего отца позаботиться о моем теле: проси и ты его. На погосте, между двумя липами, что́ к полю, в углу желаю сложить мои кости. Он может и сделает это для своего друга. Чувства благочестивых христиан не будут возмущены соседством с моим несчастным прахом. Похоронили бы меня в долине пустынной или у дороги, чтобы священник и левит крестились, проходя мимо намеченного особым знаком камня, и самаритянин проливал слезу».

«Ich habe deinen Vater in einem Zettelchen gebeten, meine Leiche zu schützen. Auf dem Kirchhof sind zwei Lindenbäume, hinten in der Ecke nach dem Felde zu; dort wünsche ich zu ruhen! Er kann, er wird das für seinen Freund thun. Bitte ich auch. Ich will frommen Christen nicht zumuthen, ihrer Körper neben einen armen Unglücklichen zu legen. Ach, ich wollte ihr begrübt mich am Weg, oder im einsamen Thale, dass Priester und Levit vor dem bezeichneten Steine sich segnend vorübergingen und der Samariter eine Thräne weinte».

Кроме этого текста Гете, сличение которого со стихотворением Лермонтова «Завещание» само по себе уже устанавливает связь между ними,—на ту же зависимость у Лермонтова от Гете указывает еще и то обстоятельство, что в той же черновой тетради с пометками: Средниково, где написано «Завещание» Лермонтова, находится его заметка в прозе, в которой он упоминает как раз о «Вертере» Гете. Именно,—по поводу «Новой Элоизы» Руссо Лермонтов, между прочим, говорит: «Вертер лучше. Там человек более человек». (См., напр., сочинения Лермонтова под ред. Висковатова, т. I, стр. 183).

И. Эйгес.

3.

В. М. Жирмунский в книге «Байрон и Пушкин», стр. 232, пишет: «В Галатее» (1829 г., ч. X, стр. 158—159) неизвестный автор описывает «Гарем» и его прекрасную пленницу: «Прелестные подруги воздушны, как зефир» и т. д.

Анонимный сотрудник «Галатеи» не может быть назван «неизвестным автором»: «Гарем» («Ренегат») написан А. И. Полежаевыми входит во все собрания его сочинений.

4.

К. К. Истомин в статье «Из жизни и творчества Достоевского в молодости» («Творческий путь Достоевского», сб. под ред. Н. Л. Бродского, с. 42) по поводу фразы о хвастливом ученике колдуна, «который, украв слово учителя, приказал метле носить воду и захлебнулся в ней, забыв, как сказать «перестань»», — пишет: «К сожалению, несмотря на все поиски, нам не удалось определить, откуда Достоевский взял это сказание о мальчике и метле». Источником Достоевского была, конечно, известная баллада Гёте «Der Zauberlehrling»; герой ее, впрочем, не захлебнулся, а был спасен вернувшимся учителем.

Вас. Г.

5. ПО ПОВОДУ ОДНОЙ «РЕЦЕНЗИИ».

Комментируя в первой книжке «Атенея» Письмо к издателю А. Б., помещенное в третьем томе «Современника» за 1836 г. и отмечая попутно все известные нам попытки раскрытия этого псевдонима, мы на стр. 19 резюмировали: «Если И. А. Шляпкин впервые правильно подошел к определению некоторых формальных особенностей «Письма» как остроумного выступления под чужим забралом, то И. И. Ивановым еще раньше было брошено замечание о самом происхождении письма «несомненно с ведома, а может быть и по внушению Пушкина». Развитию некоторых из этих соображений посвящен был в 1916 г. в Пушкинском семинарии проф. С. А. Венгерова доклад В. П. Красногорского, смелая, но по слабости аргументации специалистами своевременно не принятая, попытка которого разрешить проблему признанием тожества Пушкина и А. Б. оправдана была лишь нашими позднейшими разысканиями».

Через полтора — два месяца после опубликования этих строк, в издании «Наш Труд», № 2, стр. 106 — 119, появился тот самый доклад В. П. Красногорского, методологические недочеты которого и крайняя скудость фактического материала позволяют сейчас и вовсе не искушенному в приемах филологической критики читателю легко понять, почему своевременно приняты не были, остались не опубликованными и, несмотря на широкую известность реферата специалистам, в литературе никаких следов не оставили высказанные в нем соображения. Как видно из самого доклада и приложенных к нему выдержек из возражений оппонентов (к сожалению, в сборн. «Наш Труд» эти выдержки совершенно произвольно аннотированы и перемешаны с наивными суждениями об «открытии» нынешнего издателя реферата),—вместо поставленного тезиса о принадлежности «Письма» Пушкину,—

автору доклада удалось доказать лишь участие Пушкина в этом письме, т. е. подвести некоторый фундамент под утверждения И. И. Иванова, сделанные еще в 1900 году. Это обстоятельство заставило С. А. Венгерова отказаться до дополнительных текстовых и стилистических разысканий (очевидно, необходимость их сознавал и сам докладчик) от включения реферата в сборник «Пушкинист», а редактора Академического издания сочинений Пушкина от постановки даже вопроса об использовании «Письма к издателю» в подготовленном к печати томе Пушкинской критической прозы.

В 1920 — 1923 гг., прорабатывая текст «Современника» в связи с вопросом об отношениях Пушкина к Белинскому, нам пришлось вплотную подойти к материалам, связанным с «Письмом» А. Б., и — после тщательного изучения относящихся к этому эпизоду текстовых и документальных данных—придти к обоснованию не оправданного в свое время тезиса о тожестве Пушкина и А. Б. Судить о том, разрешена или не разрешена нами проблема принадлежности Пушкину Письма А. Б., разумеется, дело специалистов. К числу последних, очевидно, причисляет себя и И. Груздев, пришедший, в своей рецензии на «Атеней» в журнале «Русский Современник (№ 2, стр. 290 — 292), к заключению, что каковы наши «позднейшие разыскания, оправдывающие то, что в свое время неудалось оправдать Красногорскому, читателю остается неизвестным».

Решительно отказываясь от полемики с рецензентом, прикрывающим свою элементарную неосведомленность в разбираемых вопросах явными передержками, мы не можем не учесть факта самой публикации материалов В. П. Красногорского, а потому и ссылаемся здесь на самые хотя бы основные моменты наших «позднейших разысканий», которые не сочли нужным прежде особо оговаривать: 1) Впервые установив тожество приемов построения Пушкинского Письма к издателю «Литературной Газеты» и «Письма к издателю» А. Б., мы точно определили там же неизвестные прежде повод и время написания первого Письма (Сравн. «Лит. Газ.» 1830, № 18; 2) Для установления текстовых и тематических совпадений отдельных высказываний Пушкина с некоторыми частями «Письма к издателю» нами впервые проработаны соответствующие автографы Пушкина в тетрадях Московского Румянцовского Музея; 3) Стилистические и композиционные особенности «Письма к издателю» впервые выявлены и поставлены в связь с каноническим Пушкинским текстом; 4) Впервые зарегистрирована и критически проработана вся литература, связанная с «Письмом к издателю», за период 1836 — 1923 гг; 5) Впервые детально обследован весь печатный текст Пушкинского «Современника» и остатки редакционного архива последнего, позволившие установить непосредственную связь «Письма к издателю», с одной стороны,—с пред-

шествующими репликами журнала о статье Гоголя, а, с другой, — с отказом Пушкина от помещения в «Современнике» статьи В. И. Даля «Во всеуслышание» и «Письма» против А. Б., присланного Петром Мартосом; 6) «Письмо к издателю» введено в рамки редакционно-издательских отношений Пушкина в 1836 г., особенности которых и дали нам ключ к разгадке оснований его анонимного выступления.

Ю. Оксман.

18 сентября 1924 г.

6.

В журнале Российской Академии Художественных Наук «Искусство», № 1, мы опубликовали доселе неизвестный вариант стих. А. С. Пушкина «Промчались годы заточенья», признавая автограф стихотворения за подлинник Пушкина. Б. Л. Модзалевский в письме к нам высказал авторитетное убеждение в несомненной принадлежности этого автографа руке И. И. Пущина; то же затем пришлось прочитать нам и в заметке Б. В. Томашевского в журн. «Жизнь Искусства», № 9. Очень сожалеем, что необыкновенное сходство почерков Пушкина и Пущина ввело нас и ряд других лиц в заблуждение: Пущин свои собственноручные списки оды Вольность и К морю позже сам признавал за несомненные подлинники Пушкина (см. Акад. изд. Соч. А. С. Пушкина, т. II, стр. 104).

Ив. Поливанов.

17 апр. 1924 г.

ХРОНИКА.

Ленинградский Университет.

В 1924—1925 учеб. году курсы и практические занятия по истории и теории русской словесности и литературы были распределены следующим образом:

В. А. Келтуяла — Русская устная словесность; Е. Ф. Карский — практические занятия по записи народного песнетворчества; Н. Е. Ончуков — Фольклор северного края.

Древняя русская литература — В. А. Келтуяла (курс) и В. Н. Перетц (семинарий); история русской литератур. юго-зап. Руси — В. Н. Перетц; Древ. русск. публиц. (сем.) и историогр. русск. литер. — Д. И. Абрамович; истор. русск. литерат. XVIII в. — В. В. Сиповский; Русская поэзия XVIII в. (сем.) Л. К. Ильинский; Источников. и историогр. русск. литер. XVIII и XIX в. и Введение в изучение Пушкина—Ю. Г. Оксман; Пушкин и его время (сем.) — П. Е. Щеголев и Ю. Г. Оксман; Русск. беллетр. 20—30 годов (сем) и Творч. Льва Толстого (спец. курс.)— Б. М. Эйхенбаум; Русский роман XIX в. — С. А. Адрианов; «История русской драмы перв. пол. XIX в.» и «М. Ю. Лермонтов» (сем.) — М. А. Яковлев; «Жизнь и творч. Н. В. Гоголя» (сем.) — П. А. Горчинский; «А. И. Герцен» (сем.) — Н. С. Державин; «Н. А. Некрасов и его время» (сем.) — В. Е. Максимов; «Творчество Салтыкова-Щедрина» (сем.) и Методология ист. русск. литер. — Я. А. Назаренко; «Русск. литер. 60-х годов» (сем.) — В. В. Сиповский; Ист. русск. критики втор. пол. XIX в.— Л. К. Ильинский; Истор. русск. литер. XX в. (курс и сем.) — Г. Е. Горбачев; Стиховедение — Б. В. Томашевский; Ист. русск. литер. языка (курс) и «Язык Горя от ума» (сем.) — С. П. Обнорский; Современ. литер. язык (курс) и литер. яз. XIX в. (сем.) — В. В. Виноградов; Лингвист. анализ лирики Пушкина (сем.) — Л. В. Щерба.

Научно-Исследовательский Институт.

Научно Исследовательский Институт Сравнительной истории Литератур и Языков Запада и Востока при Ленинградском Государственном Университете основан осенью 1923 г. Он явился преемником старого Исследовательского Института имени А. Н. Веселовского и по своим основным задачам продолжает его работу. Конструкция Института к 1925 г. была следующая: он делился на 6 секций, из них 2 по разработке вопросов теоретических — секция общей методологии и теории литературы и секция общей лингвистика; 4 по разработке разных областей, разграниченных по принципу национально-историческому—древнего мира, романо-германская, славяно-греческая, и дальнего востока. В 1924 г. основана еще VII секция — новой и новейшей литературы. В состав секции вошли: Н. С. Державин (председатель), Н. К. Козмин (тов. пред.), Б. В. Томашевский (секретарь), Д. И. Абрамович, В. В. Сиповский, И. И. Соколов, П. Е. Щеголев, Б. М. Эйхенбаум, Б. М. Энгельгардт, Ю. Г. Оксман, Ю. Н. Тынянов, С. Д. Балухатый, Л. К. Ильинский, В. Л. Комарович, Н. В. Яковлев, П. А. Горчинский, А. А. Гизетти, С. А. Золотарев, А. И. Никифоров, К. А. Шимкевич, Я. А. Назаренко, и М. А. Яковлев. Из науч. сотруд. 2-го разряда: И. М. Андреевский, Г. А. Гуковский, Д. Н. Данилов,

В. А. Зильбер, Б. И. Коплан, В. В. Рахманов, Д. П. Якубович и др. Секция в 1924—1925 ак. году имела 25 заседаний и организовала одно открытое заседание памяти В. Брюсова. На заседаниях секции были заслушаны следующие доклады: Н. В. Яковлева «Пушкин и Кольридж» (24 ноября), С. А. Золотарева «Соврем. литерат. как предмет изучения и преподав.», (24/XI), И. М. Андреевского «Программа преподав. литер. в труд. школе» (1/XII), М. Н. Мотовиловой «Нодье в русской журналистике» (8/XII) и Д. П. Якубовича «Пушкин и Вальтер Скотт» (15/XII), Б. М. Энгельгардта «Романы Достоевского как новый жанр» (19/I), С. Д. Балухатого «О новаторской форме драм Чехова» (26/I), В. Б. Враской «Адольф Б. Констана в русской журналистике Пушкинской эпохи» (2/II), В. В. Сиповского «Влияние Гейне на русскую литературу 60-ых годов» (9/II), Г. А. Гуковского «Юношеские романы Жюля Жанена» (23/II), Б. В. Томашевского «Пушкин и Лафонтен» (9/III), Д. П. Данилова «Русская классическая трагедия конца XVIII в.» (23/III), К. А. Шимкевича «Бенедиктов, Некрасов, Фет» (6/IV), И. И. Соколова «Литературная деятельность Адамантия Корай» (27/IV), Ю. Н. Тынянова «Пушкин и архаисты» (4/V), А. А. Гизетти «Русские и Западные вдохновители Леонида Андреева» (11/V), В. Л. Комаровича «Литературное заимствование в сюжете Братьев Карамазовых» (18/V), А. С. Долинина «Достоевский в 40 годы» (1/VI), В. В. Сиповского «Преодоление христианства в русской литературе 60—70 годов» (15/VI). К. К. Истомина «Стилистическая судьба комедии Недоросль» (29/VI), Н. В. Яковлева «Пушкин и Соути» (21/IX) и А. С. Долинина «О мемуарах как о жанре, и о критерии их достоверности» (5/X).

На открытом заседании памяти Валерия Брюсова (1 декабря 1924 г.) были прочитаны сл. доклады: Ю. Н. Тынянов «Брюсов как поэт», В. М. Жирмунский «Лирика Брюсова», А. И. Малеин «Брюсов и античность», Б. В. Томашевский «Брюсов стиховед».

Помимо работы в пленуме члены секции организовали ряд групповых объединении научной работы по специальным вопросам. Так, в настоящем году работали группы: «Литература и школа», «Русская проза XIX века», «Русская поэзия XIX и XX в.», «Литературное общение России с Западом», «Пушкин», «Достоевский», «Декабристы—поэты и литераторы».

Российский Институт Истории Искусств.

На Отделении истории Словесных Искусств Государственных курсов при Российском Институте Истории Искусств в 1924—1925 учеб. году велись следующие занятия по теории и истории литературы: В. Жирмунский — курс метрики и семинарий по введению в поэтику; Б. Томашевский — курс «Введение в поэтику» и семинарий по изучению Пушкина; акад. В. Н. Перетц — методология истории русской литературы (курс и семин.); Б. Энгельгардт — методология истории литературы (курс и семин.); Ю. Тынянов — история русской поэзии первой половины XIX в. Б. Эйхенбаум — «Проблема повествования в русской прозе XIX в.» (курс) и семинарий по изучению русской беллетристики 30-х годов; В. Адрианова — «Древе-русская художественная словесность» (курс) и семинарий по современной народной поэзии; С. Балухатый — «Русская проза 80—900-х годов»; Б. Казанский — семинарий по исторической поэтике; К. Шимкевич — «Некрасовская эпоха» (курс) и семинарий по истории русской поэтики; Г. Гуковский — семинарий «Сумароков и его школа»; Я. Назаренко — семинарий по социолог. изучению литературы; А. Астахова — историографическое введение в историю русской литературы XVIII—XIX вв. — П. Жуков (†) читал курс по методике преподавания литературы и вел семинарий по изучению современной русской литературы.

В заседаниях Разряда Истории Словесных Искусств были прочитаны следующие работы (октябрь — декабрь 1924 г.): 1) По Секции Художественной Словесности: Г. Гуковский — Ржевский. (Из истории Сума-

роковской школы). С. Балухатый — Драматургия Чехова; А. Цейтлин — Время у Достоевского. 2) По Комитету Современной литературы: Ю. Тынянов — Современная поэзия; В. Каверин — повесть «Конец хазы».

Историко-литературная работа в Сибири (1918—1925)

Историко-литературная работа в Сибири рисуется в виде неровной и судорожной линии. Впервые истор.-лит-ые изучения начались в 1917/18 г. в Томске с учреждением в нем историко-филологического факультета. Первый состав ист.-фил. факультета включал в себя следующих лиц, причастных, к ист.-литер. работе: проф. А. Д. Григорьев — (по каф. русск. литературы), проф. А. А. Гвоздев (зап.-евр. литература), проф. Э. В. Диль (античн. литература), позже присоединились д-р А. Г. Смешек (сравн. языкозн.) и М. К. Азадовский (русск. литер.)

С осени 1919 года факультет пополнился силами эвакуированного в Томск Пермского Университета. В объединенном факультете приняли участие сверх перечисленных: С. П. Обнорский (др.-русск. лит-ра и язык), Л. А. Булаховский (славян. филология), Ю. Н. Верховский (ист. русск. литературы), Б. Л. Богаевский (античн. и зап. европ. литературы), Б. А. Кржевский (романск. филолог.), Б. В. Казанский (римск. литература), позже П. С. Богословский (др.-русск. лит.)

Несмотря на то, что Томский Университет обзавелся истор. филол. факультетом только к тридцатому году своего существования, условия для научной работы словесника в Томске были весьма благоприятны, благодаря замечательной университетской библиотеке, в кот. влились библиотека и рукоп. собрание графов Строгоновых, библиотека А. В. Никитенко, часть библиотеки В. А. Жуковского и др.

При факультете быстро организовались два историко-литературных кружка: кружок изучения зап.-европ. литер. (под руков. А. А. Гвоздева) и кружок памяти Тургенева (под руков. М. К. Азадовского); в 1920 г. оба кружка слились в один, руководил которым Б. Л. Богаевский. Из многочисленных докладов в обоих кружках следует особо отметить доклады Б. Л. Богаевского («Фантастика и ее метод», «Бодлер и его теория соответствий»), А. А. Гвоздева (по ист. театра), Ю. Н. Верховского (о «Младенчестве» Вяч. Иванова), М. К. Азадовского («Поэт Милькеев», «Тургенев и Жерар де Нерваль»), В. П. Красногорского (по методологии ист. литературы), А. П. Сысоева (о Л. Н. Толстом); из студенческих докладов необходимо упомянуть: Б. Бараховича — погибшего в 1920 году — («О немецких лирикахсимволистах»), Н. Баранова (о «Золотом Горшке» Гофмана), Д. Данилова (о Рылееве), Е. Бахмутовой (о Бальмонте).

Интерес к народной словесности нашел отражение в работах тогда же организованного «Общества Этнографии, Истории и Археологии при Томском Университете». С докладами выступали: Г. Н. Потанин («Легенды об Ерке»), М. К. Азадовский («Ленские причитания», «Легенда о Щапове»), В. И. Анучин (О фольклоре туземных племен), И. Мягков (Об алтайских сказках); там же доклады: Н. Н. Бакая («О литературн. занят. декабристов в Сибири», «Инструкция о Чернышевском»). Кроме того совместно с Томским кружком преподавателей-словесников было устроено торжественное заседание памяти С. А. Венгерова. С докладами выступали: проф. С. И. Протасова «С. А. В-в, как общественник», М. Г. Арлюк «С. А. В-в, как критик и историк литературы», А. П. Сысоев «Венгеров, как руководитель Пушкинского семинария», П. Д. Жуков «С. А. В-в на съезде словесников» и М. К. Азадовский «С. А. В-в, как библиограф».

Из специальных курсов и семинариев историко-литературного характера за этот период нужно назвать: курс «Боратынский и его эпоха» (Ю. Н. Верховского), семинарий по Жуковскому (его же), семинарий по Тургеневу (М. К. Азадовского), по Буало (Б. А. Кржевского); курсы: «Фантастическая литература XVIII века», «Экзотика в западном романе

XVIII и начала XIX веков» (Б. Л. Богаевского), семинарий по Гофману (его же).

Наконец, факультетом устраивались торжественные открытые заседания в день столетия со дня рождения Тургенева (речи: А. А. Гвоздева «Пейзаж в творчестве Тургенева»; М. К. Азадовского «Проблема пессимизма в творчестве Тургенева») и в день десятилетия со дня смерти Толстого (А. П. Сысоев «Изучения Толстого за последнее десятилетие,» С. О. Гессен «Педагогич. идеи Толстого»).

К сожалению, эта довольно интенсивная историко-литературная работа томских словесников не смогла закрепиться в печати. За все время существования факультета не удалось наладить ни одного печатного издания. О-во Этнографии, Истории и Археологии смогло выпустить только один небольшой томик своих «Трудов» (с работой М. Азадовского по библиографии Сибири). Историко-литературные кружки, как и сам факультет, не смогли издать ничего.

С осени 1920 года начался постепенный разъезд словесников, и весной 1922 года факультет в Томске окончательно прекратил свое существование. Из большой семьи томских университетских словесников на территории Сибири остались только В. Н. Наумова-Широких (ныне завед. библиот. Томского Унив.), М. К. Азадовский (занимает кафедру литературы в Иркутском Унив.) и М. А. Шаньгин (читает там же курс античн. литер.)

Насколько известно, сейчас в Томске не ведется никакой ни историко-литературной работы ни работы по народной словесности. Попытки Томского Университета вернуть факультет общественных наук (в составе которого в последнее время находился б. ист.-филолог. факультет) успеха не имели.

Вторым центром историко-литературной работы в Сибири явилась довольно неожиданно Чита, бывшая в 1920—22 годах столицей Дальне-Восточной Республики. Здесь был организован Институт Народного Образования, сумевший привлечь ряд крупных научных сил. Ректором Ин-та был проф. В. И. Огородников (известный историк Сибири), деканом гуманитарного факульт. — известный экономист, проф. Маслов.

Словесное отделение работало в составе профессоров: М. К. Азадовского и А. В. Гребенщикова и преподавателей: В. А. Малаховского, П. П. Дрягина, и А. В. Харчевникова. В первом же семестре был организован историко-литературный кружок. Оживлению ист.-литерат. интересов в Чите не мало способствовало пребывание в ней в то время крупных деятелей футуризма, как С. М. Третьяков, Н. Ф. Чужак и Н. Н. Асеев. Кружок за два года имел свыше двадцати заседаний. Результаты первого года работ выразились в издании историко-литературного сборника «Камены» (единственного истор.-литерат. сборника в Сибири). В него вошли статьи: «Эпитет Тютчева» (В. А. Малаховского), «Неизвестный поэт-сибиряк» (М. К. Азадовского), «Молитвенные песни русских духоборов в Канаде» (С. М. Третьякова) и др.

Были попытки организовать в Чите Дальневосточное Библиологическое Общество. Состоялось несколько заседаний, но за отсутствием широкого интереса к нему, оно вынуждено было скоро распасться. Совместно с историко-литературным кружком О-вом было устроено торжественное заседание памяти В. Г. Короленко. С докладами выступали В. А. Малаховский (Об изучении Короленко в последние годы), Н. Н. Козьмин (Короленко, как общественный деятель), М. К. Азадовский («Сибирский пейзаж в творчестве Короленко»—последняя речь напечатана в местной газете «Дело»).

В Иркутске не удалось достаточно широко развернуть историко-литературные изучения. Университет был организован только в 1918 году; тогда же было открыто и словесное отделение. На последнем работали перешедшие из Казани профессора: Л. И. Пономарев, А. М. Селищев, позже П. П. Миндалев. Преподаватели: И. О. Гальм, Л. Г. Михалкович и Г. Г. Генкель. В противоположность Томску работа в Иркутске началась при весьма неблагоприятной обстановке; Иркутск не успел до от-

крытия Ун-та накопить солидных книжных богатств (пожар 1879 года унес ценнейшие книжные сокровища), не было возможности вследствие оторванности от центра делать какие-либо книжные приобретения. Все это неминуемо сказалось на темпе историко-литературных изучений, — к тому же деятели первого состава очень скоро покинули Иркутск, разъехавшись, прежде чем факультет успел окрепнуть. С весны 1920 г. и по осень 1923 кафедра истории литературы пустовала и преподавание обслуживалось силами приглашенных преподавателей средней школы. Исследовательская работа шла только в области народной словесности под руководством (с 1922 г.) Г. С. Виноградова.

В 1923 — 25 гг. состав словесного отделения определялся следующим образом: М. К. Азадовский (русск. литература), В. А. Малаховский (методика языка и литературы, курсы по языку и др.-русск. литерат.) Л. Г. Михалкович (новейшая русская литерат.), А. М. Мышкин (ассист. по каф. русск. литерат.) П. Я. Черных (языкознание и истор. русск. языка), М. А. Шаньгин (античная литерат.), Г. С. Виноградов (народная словесность и русск. этнография).

Вследствие трудных формальностей, которые приходится преодолевать для открытия научного общества или кружка, в истекшем году при университете не было никаких историко-литературных организаций. Отсутствие кружка отчасти компенсировалось устройством совместных заседаний историко-литературных семинариев. Так, напр., было устроено два заседания в связи с 125-летним юбилеем Пушкина. Были сделаны сообщения: М. К. Азадовский — «Проблемы изучения Пушкина», А. М. Мышкин— «Проблемы поэтики Пушкина», Л. Г. Михалкович— «Пушкин и Достоевский», П. Я. Черных— «Пушкин и русский язык», М. А. Шаньгин— «Пушкин и античность». Из историко-литературн. выступлений следует отметить устроенный Тургеневским семинарием публичный вечер памяти Тургенева на тему «Тургенев и музыка». Вступительное слово проф. Азадовского «Музыкальная стихия в творчестве Тургенева». В музыкальной части принимала участие ученица Полины Виардо, Е. О. Репчанская. По просьбе участников семинария, последней написаны воспоминания о своем пребывании у Виардо.

Гораздо лучше обстоит дело с изучением народной словесности. Благодаря энергично работающему Восточно-Сибирскому Отделу Русского Географического Общества (ВСОРГО), удалось за последнее время опубликовать целый ряд работ и исследований в данной отрасли.

После некоторого затишья в деятельности ВСОРГО, им в 1923 году было организовано небольшое, информационного характера, издание «Этнографический Бюллетень» (вышло 4 №№). Среди различных небольших заметок в них помещено было: П. Черных «О новых словах», Ф. и В. «Тюремная песня», О. Зелиникина «Н. А. Костров», П. И. Рождественский «Штрихи из легенд о Федоре Кузьмиче». С осени 1923 го ла ВСОРГО удалось наладить уже большое издание специальных этнографических сборников под названием «Сибирская Живая Старина» (под ред. М. К. Азадовского и Г. С. Виноградова). В двух первых №№-х, м. пр. напечатано: Г. С. Виноградов — Этнография и современность» (№ 1), его же «Детский народный календарь» (№ 2); М. К. Азадовский — «Легенда о Щапове» (№ 1), «Сказки Верхнеленского Края» (№ 2), «Литература по этнографии Сибири» (№ 2); А. М. Попова — «Детские игры в сибирской деревне» (№ 1); М. В. Красноженова — «Взятие снежного городка в Енисейской губ.» (№ 2); в настоящее время вышел из печати № 3 — 4; среди его материалов: Г. С. Виноградов — «Детская сатирическая лирика»; В. А. Малаховский — «Советское Виноградье»; Н. М. Хадзинский — «Покойнишный вой по Ленине».

Отделом кроме того организована серия программ и инструкций по этнографии под общим названием «Библиотека Собирателя». Пока вышел в свет только № 1 этой серии — работа М. Азадовского «Беседы собирателя. О собирании памятников устного творчества». В дальнейших выпусках

предположены программы Г. С. Виноградова по собиранию детских игр и песен, об отражении революции в народном творчестве и др.

Вторая годовщина смерти Короленко была отмечена ВСОРГО устройством особого вечера на тему «Короленко и Сибирь».

С осени 1924 г. при ВСОРГО организовалась специальная историко-литературная секция, посвященная изучению вопросов областного искусства. Работа секции открылась докладом И. Г. Гольдберга «Краеведческие задачи художественной литературы».

Предстоящий юбилей декабрьского востания 1825 года вызвал к жизни ряд изданий в разных местах Сибири. В Иркутске вышел в свет сборник комиссии по организации юбилея декабристов «Сибирь и Декабристы», со статьями Б. Г. Кубалова «Крестьяне Восточной Сибири и Декабристы», В. М. Базилевича — «Областное деление Сибири в проектах Декабристов», М. К. Азадовского — «Декабристы — краеведы», В. Дербиной — «Декабрист Веденяпин в Сибири» и др. В сборник вошло свыше 40 неизданных писем декабристов, а также неопубликованная статья декабриста В. И. Штейнгеля. Губернское Архивное Бюро выпустило сборник статей Б. Г. Кубалова «Декабристы в Восточной Сибири», а в «Сибирской Живой Старине» появилась работа М. К. Азадовского «Н. Бестужев — этнограф».

Сборники, посвященные пребыванию декабристов в Сибири, выходят также в Чите (под ред. А. В. Харчевникова) и в Верхнеудинске (под ред. В. П. Гирченко).

Чтобы полнее охарактеризовать картину историко-литературных изучений в Сибири, отметим статьи филолог. характера и значения, случайно попадающие на страницы немногочисленных и по большей части также случайных сибирских изданий:

Ново-Николаевск. Издается журнал «Сибирские Огни». Здесь были помещены статьи: Н. Н. Бакай — «О литературных занятиях декабристов (1922, № 2); Неопубликованное письмо Л. Н. Толстого (1923, № 1); В. Правдухин — «Белинский — основоположник социальной эстетики» (1923, № 3); Н. К. — «Тургенев и мы» (1923, № 6). Г. Н. Потанин — «Г. С. Батеньков» (посмертная статья) 1924, II.

Иркутск. «Сборник трудов профессоров и преподавателей Иркутского Государственного Университета»: Б. Г. Кубалов — «Декабристы в Якутской Области» (вып. II), Г. С. Виноградов — «Смерть и загробная жизнь в воззрениях русского старожилого населения Сибири» (вып. V); В отдельном издании Ирк. Госуд. Ун-та вышли работы А. И. Селищева «Забайкальские семейские» (с рядом фольклорных текстов) и «Диалектологический Очерк Сибири».

«Красные зори» — Журнал местного литер.-худож. О-ва (стоящего на платформе литературной группы «Октябрь»): Д. А. Болдырев-Казарин — «Sibirica в искусстве»; П. Рождественский — «Материалы о ссылке Короленко в Якутскую обл.»

Верхнеудинск. «Известия кафедры Прибайкальеведения при Прибайкальском Народном Университете» (вышел один номер, 1921 г.) В.л. Гирченко «Университет декабристов в Читинском и Петровско-Заводском казематах», А. Эпов — «Свадебные обряды и песни Чикойского района в 80—90 годах прошлого века». В журнале «Жизнь Бурятии» (1924, VI) опубликована статья Е. Труневой — «Декабристы в Прибайкалье».

Чита. «Труды Инст. Народн. Образования» (1922, т. I и единств.: В. А. Малаховский — «Современные методы исследования русского языка»; М. К. Азадовский — «Ленские причитания».

«Известия Института Народного Образования» (1923, № 1 и единств.): В. А. Малаховский — «Об изучении сибирской диалектологии»; М. К. Азадовский — «К библиографии марксистской литературной критики», его же «Из литературы об областном искусстве».

«Вестник Просвещения» (журнал Мин. Нар. Просв. при правит. ДВР; 1921 — 1922), — В. А. Малаховский — статьи по методике языка и литературы (почти во всех номерах) М. К. Азадовский — «Эпическая традиция в Сибири» (1921, № 5 — 7; «Памяти

С. А. Венгерова» (1922, № 1). Кроме того в Чите в отдельном издании вышли книги Н. Ф. Чужака « К диалектике искусства» 1921; «Сибирский мотив в поэзии» изд. ПТАЧ, 1922. Забайк. Отд. Рус. Геогр. О-ва выпустило в 1924 г сборник «Изучайте родной край!»; в статье А. В. Харчевникова «Об исторических памятниках г. Селенгинска» находятся материалы о пребывании в Селенгинске декабристов: бр. Бестужевых и Торсона.

Историко-литературная работа в Нежине.

Научная жизнь в Нежине поддерживается работниками Института Народного Образования. При Институте в январе 1922 г организовалась научно-исследовательская кафедра истории культуры и языка в составе трех секций: а) античной культуры, б) истории украинской и русской и в) украинск. и русск. литературы и языка; при этой последней работают под руководством проф. В. И. Резанова и А. С. Грузинского семинарии повышенного типа.

Проф. В. И. Резанов выполнил исследование о старинной украинской драме. Издание, с приложением текстов пьес, составит корпус в 9 выпусков: I. Вступление. — Сценические представления в Галиции в XVII — XVIII вв.; II. Героидрамы в старинных школьных поэтиках. — Оборудование школьной сцены (с чертежами); III. Школьные действа пасхального цикла; IV. Школьные действа рождественского цикла; V. Драмы о святых; VI. Пьесы характера «моралите»; VII. Драмы на сюжеты исторические; VIII. Украинская драма в Великороссии; IX. Начатки на Украине драмы бытовой (интерлюдии и интермедии). Итоги и выводы исследования опубликованы в виде автореферата в «Наук. Зап.». т. I, Киев. 1923.

Проф. Резанов выполняет исследование о русской литературе XVIII века, в состав которого входят этюды: I. Итальянское влияние в русской литературе XVIII-го века; II. Этюды о Сумарокове: а) Поэтика Возрождения на русской почве и «Эпистола о стихотворстве» Сумарокова; б) Трагедии Сумарокова; в) Комедии Сумарокова; г) Элегии Сумарокова и его современников и др.; III. Трагедии Тредьяковского и Ломоносова. Кроме того, проф. Резанов работает над отделкой книги под загл. «Литературология», в двух частях: I. Теория историко-литературного знания и II. Теория литературного процесса. Задача сочинения — приложение сравнительно-социологического метода к объяснению литературных явлений.

Проф. А. С. Грузинский производит разыскания о литературе эпохи раннего украинского возрождения, и по поручению Всеукраинской Академии Наук составляет историю украинской литературы XV — XVII веков; изучает философию на Украине и литературную деятельность Сковороды, а также вопрос об энциклопедистах и вольнодумцах на Украине; последняя проблема возникла в связи с изучением источников новой украинской литературы (XIX в.), главным образом харьковской группы, Гулака, Квитки, Белецкого и др. Одновременно проф. Грузинским выполнено а) Библиографический очерк новейшей литературы о Сковороде, б) «Щоденник» Шевченка, рукопись Жемчужникова, в) К вопросу об «Аде» — театральном представлении времени Самозванца: миниатюра XVII — XVIII в. по рукописи Киевского Державного Музея и объяснительный текст; г) Новые материалы для биографии Шевченко (письма Лизогубу, Белозерскому и др.); д) «Книга всякой всячины» Гоголя, как материал для характеристики украинских симпатий Гоголя.

Из аспирантов, состоящих при кафедре, В. Г. Севсун, подготовил два научных этюда: а) «Журнал Правда за 1905 год»; б) «Двойник, Петербургская поэма Ф. М. Достоевского».

Историко-литературная работа в Перми.

На Педагогическом факультете Пермского Университета общие

курсы по истории литературы в 1925—1926 гг. читались проф. П. С. Богословским (др. русск. литература), проф. В. В. Гиппиусом (новая русск. литер.), преп. Н. П. Обнорским (античн. литер.), А. Э. Гоером (зап.-европ. литер.).

Научная жизнь поддерживалась работою «Общества исторических философских и социальных наук» (сущ. с 1917 г. Первый и пока единственный сборник трудов его вышел в 1918 г.); истории литературы в 1923 — 1924 г. уделено 13 докладов из них 3 были посвящены столетию со дня рождения А. Н. Островского.

1) Л. П. Лобова — «Романтизм Островского». 2) Вас. В. Гиппиуса—«Драматическая интрига у Островского». Докладчик связал театр Островского с гоголевскими поисками интриги, основанной на «электричестве» чина и денежного капитала (Театр. Разъезд) и проследил в пьесах Островского динамику перехода денег из рук в руки в различных социальных слоях и психологических типах. 3) П. С. Богословского «Женские типы у Островского».

Кроме того в Обществе были прочитаны доклады: Вас. В. Гиппиусом: 1) Из истории душевного развития Гоголя в 40 — 41 гг. 2) Вопросы фоники в русском стиховедении 1910 — 1923 г. г. 3) Литературные параллели к комедиям Гоголя. 4) Русск. переводы еврейских мелодий Байрона.

Л. П. Лобовым: 1) Элементы творчества Достоевского; 2) Женщины великого гнева (анализ этого психологического типа в произведениях Достоевского). 3) Педагогические идеи Белинского; 4) «Проблема смерти в русской художественной литературе» (Пушкин — Л. Толстой — Л. Андреев); Н. П. Обнорский — «Байрон» (к столетию со дня смерти).

В. В. Рахманов: 1) «Рабле в оценке и истолков. его современников»; 2) «Пьер Ронсар» (к 400-летию со дня рождения).

При Университете функционируют также научно педагогическое Общество (предс. проф. А. И. Сырцов) и Кружок по изучению Северного края (предс. П. С. Богословский). В последнем был заслушан между прочим доклад П. С. Богословского памяти Мамина-Сибиряка (напечатан в № 1 Пермского «Научно-педагогического Вестника) и ряд докладов студ. В. Н. Серебренникова по устной словесности Пермского края (на основании собственных записей).

ОГЛАВЛЕНИЕ.

ДЕКАБРИСТЫ. НОВЫЕ ТЕКСТЫ.

1. В. Ф. Раевский. Послание Г. С. Батенькову (1815) (стр. 5—7).
2. А. И. Одоевский. [Неизданное стихотворение] (стр. 8).
3. К. Ф. Рылеев. [Приписываемое ему послание к А. А. Бестужеву] (стр. 9).
4. А. П. Барятинский. A Madame la P-sse T...koy née c-sse W...n. (Impromptu); с переводом (стр. 10).
5. Н. М. Языков. [Стихотворение памяти К. Ф. Рылеева] (стр. 11).
6. А. И. Полежаев. [Неизданное стихотворение] (стр. 12—13).
7. Письма М. С. Лунина из Акатуя (стр. 14—20).
8. Н. А. Бестужев. Дневник путешествия нашего из Читы. 1830 (стр. 21—25).

Примечания Ю. Г. Оксмана, Н. В. Измайлова, Б. Л. Модзалевского, М. К. Азадовского (стр. 26—34).

СТАТЬИ И ИССЛЕДОВАНИЯ.

Генезис «Песен Западных Славян». Б. В. Томашевского (стр. 35—45).

Сожженная трагедия Гоголя из прошлого Запорожья. Ю. Г. Оксмана (стр. 46—58).

Валерий Брюсов. Ю. Н. Тынянова (стр. 58—75).

МАТЕРИАЛЫ.

Письмо Пушкина. Б. Л. Модзалевского (стр. 76—77).

Неизданные отрывки Гоголя. В. В. Гиппиуса (стр. 78—80).

Фрагмент из «Воскресения». С. М. Брейтбурга (стр. 81—83).

Глава из воспоминаний Е. М. Феоктистова.

С примечаниями Б. Л. Модзалевского (стр. 84—115).

Тургенев и его корреспонденты. Письма Тургенева к Л. Н. Вакселю, И. Ф. Миницкому, А. В. Дружинину, Н. В. Гербелю, М. М. Ковалевскому, В. М. Гаршину, П. И. Вейнбергу и М. Е. Салтыкова к Тургеневу. Сообщ: М. К. Клеман, Ю. Г. Оксман, Н. В. Измайлов, В. В. Мияковский, З. В. Пушкарева, Б. Л. Модзалевский и Н. В. Яковлев, (стр. 116—129).

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ.

Из Puschkinian'ы за 1923 — 1925 годы. Н. В. Измайлова (стр. 130—152).

На полях историко-литературных изданий. Ю. Г. Оксмана, И. Р. Эйгеса, В. В. Гиппиуса и И. Л. Поливанова (стр. 153—160).

ХРОНИКА.

Ленинградский Университет; Научно-Исследовательский Институт; Российский Институт Истории Искусств. Историко-литературная работа в Сибири; Историко-литературная работа в Нежине; Историко-литературная работа в Перми (стр. 161—168).

Государственных Наук